

Антоній романа и Антоній предання ¹⁾.

„C'est comme une mort plus profonde que la mort... Ma conscience éclate sous cette dilatation du néant“.

G. Flaubert, „Tentation“, p. 260.

I.

„... больной, раздраженный, переживающей тысячи разъ въ день минуты страшного отчаянія, безъ женщинъ, безъ жизни, безъ самой ничтожнѣйшей изъ этихъ погремушекъ

1) Источниками и пособіями при писанії настоящей статьи служили:
По истории литературы:

- 10.—Исторія французской литературы. Густава Лансона, т. II, стр. 531—536.
 - 20.—Флоберъ по воспоминаніямъ Максима Дюкана. „Наблюдатель“ 1883 г. № 8, стр. 57—71; № 9, стр. 166—194.
 - 30.—Флоберъ въ своихъ письмахъ. Д. Мережковскаго. „Северный Вѣстникъ“, 1888 г., № 12, отд. 2-й, стр. 27—48. Перепечатано въ сборникъ статей Д. Мережковскаго „Вѣчные Спутники“, СПб., 1893.
 - 40.—Густавъ Флоберъ. Брандеса. „Русская Мысль“, 1882, № 2, стр. 233—267.
 - 50.—Парижскія письма.—Густавъ Флоберъ, какъ писатель и человѣкъ. LIX. Эмиль Зола. „Вѣстникъ Европы“ 1880, № 7, стр. 353—389.
 - 60.—Поль Бурже. Очерки современной психологіи. Пер. Ватсона. СПб. 1888, стр. 79—110.
 - 70.—Жоржъ Пелисье. Литературное движение въ XIX ст. Пер. Доппельмайера. 1895. стр. 350—361; 366, 369, 379.
 - 80.—Парижскія письма. VIII. Флоберъ и его сочиненія. Эм. Зола. „Вѣстникъ Европы“, 1875, № 11, стр. 401—429.
 - 90.—Изъ исторіи стремленій художника. (Очеркъ ю Гюставъ Флоберъ). А. И Красносельскаго. „Русское Богатство“, 1897 г., № 1, стр. 129—160.
- По истории монашества и специально объ Антоніи Вел.:*
- 10.—Достопамятныя сказанія о подвижничествѣ святыхъ и блаженныхъ отцевъ. Пер. съ греч., изд. 4-е. СПб. 1881.
 - 20.—Лугъ Духовный. Твореніе блаженнаго Ioанна Мосха. Пер. съ греч. примѣчан. свящ. М. И. Хитрова. Изд. Свято-Тр. Серг. Лавры. 1896.
 - 30.—Исторія боголюбцевъ или ловѣствованіе о святыхъ подвижникахъ. Блаж. Феодорита, еп. Кирскаго. Пер. съ греч. СПб. 1853.
 - 40.—Жизнь пустынныхъ отцевъ. Твореніе пресвитера Руфина. Пер. съ латинскаго съ примѣчан. свящ. М. И. Хитрова. Изд. Свято-Троицк. Серг. Лавры. 1898.

земной юдоли, я продолжаю мой медленный трудъ, какъ добрый работникъ, который засучивъ рукава, съ волосами, орошенными потомъ, ударяетъ по наковальнѣ, не боясь ни дождя, ни града, ни вѣтра, ни грома”¹⁾.

Такъ описываетъ Густавъ Флоберъ муки литературнаго рожденія. А вотъ какими представляются они со стороны: „съ наклоненной головою, съ лицомъ и шеей, налитыми кровью, напрягая всѣ мускулы, какъ атлетъ во время поединка, онъ вступалъ въ отчаянную борьбу съ идеей и словомъ, схваты-

50.—Житіе преподобнаго отца нашего Антонія, описанное святымъ Асанасіемъ въ посланії къ ионкамъ, пребывающимъ въ чужихъ странахъ.—Творенія иже во святыхъ отда нашего Асанасія Великаго, Архіеп. Александрийскаго. Ч. III, стр. 178—250. Серг. Лавра. 1903. Сокращен. цитапія—Ас.

60.—Архимандріть Палладій. Новооткрытыя изреченія преподобнаго Антонія Великаго. По коптскому сборнику сказаний о преподобномъ. Казань. 1898

70.—Annales du Musée Guimet. T. XXV. Monuments pour servir à l'histoire de l'Egypte chrétienne. Histoire des Monastères de la Basse-Egypte, texte copte et trad. franâaise par E. Amélineau. Paris. 1894. pp. XVIII—XX (l'abrégé de la Vie copte de St... Antoine, conservé par le Synaxare). Тутъ же приводятся изреченія, переведен. на русск. яз. (см. 60).

80.—Архимандріть Палладій. Новооткрытыя сказаниія о преподобномъ Макаріи Великомъ. По коптскому сборнику. 1898. Казань.

90.—Жизнь преподобнаго отца нашего Антонія Великаго и его устныя и письменныя духовно-подвижническія наставлениія. Свято-Троицк. Серг. Лавры Еромонаха Агапита. СПБ. 1865.

100.—Історія православнаго монашества на Востокѣ. Ч. I и Ч. II. Проф. Петра Казанскаго. Москва. 1854.

110.—Писанія преподобнаго о. Іоанна Кассіана Римлянина. Пер. съ лат. Москва. 1878. Изд. Ферапонтова.

120.—Преподобный Антоній Великий. М. С. Извѣкова. „Христіанское Чтеніе“ 1879. Ч. II, стр. 66—130; 272—317.

130.—Добротолюбіе въ русскомъ переводѣ, дополненное. 1895. Т. I, стр. 1—152. Св. Антоній Великий.

140.—Собрание словесъ и дѣяній преподобныхъ отецъ скитскихъ яже обрѣтаются въ патерикѣ по алфавиту (Алфавитный Патерикъ). 1491 г.

150.—Святаго Отца нашего Антонія Великаго наставлениія для нравственности человѣковъ и доброй жизни, въ 170 главахъ (стр. 237—297). Достопамятныя преданія о Великомъ Антоніи (стр. 298—312). „Христіанское Чтеніе“ 1821 г., часть I.

Основнымъ источникомъ служило „édition définitive“:

„La Tentation de Saint Antoine“ par Gustave Flaubert. Paris, 1898; Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur.

Во время печатанія настоящей статьи вышли также два перевода „Испытанія Святого Антонія“; одинъ изъ нихъ—П. А. Ившовой, другой—А. И. Шестаковой.

¹⁾ Мережковский, стр. 34.

вая ихъ, соединяя, сковывая, какъ въ желѣзныхъ тискахъ, могуществомъ воли, сжимая и мало-по-малу нечеловѣческими усилиями порабощая мысль и заключая ее, какъ звѣря въ клѣтку,—въ точную, неразрушимую форму“¹⁾.

Это упорство въ работе было неутомимо, и оно неизмѣнно крѣпло съ течениемъ жизни. „Писать правильныя и красивыя фразы и писать ихъ въ углу, какъ бенедиктинецъ, отдающій жизнь труду,—вотъ литературный идеаль Флобера“²⁾. И дѣйствительно, отъ того момента когда произведеніе было зачато творческимъ воображеніемъ его, и до того, когда, во время тисненія, Флоберъ внезапно срывался съ мѣста, чтобы спрятаться въ типографіи, на мѣстѣ ли какая-нибудь занятая; впродолженіе копотливой подборки матеріаловъ, когда приходилось перерывать цѣлые библіотеки и когда груды выписокъ заваливали письменный столъ, и затѣмъ, впродолженіе порывистой борьбы съ непокорной фразой, впродолженіе всползанія на стилистичекія кручи,—все это время Флоберъ изнывалъ и, мучаясь, совершалъ своеобразный эстетическій подвигъ. Если же принять во вниманіе, что этому поэту пришлось писать всю жизнь безъ передышки, то станетъ ясно, что вся жизнь его была сплошной родильной мукой.

„Бывало Флоберъ говорилъ,—рассказываетъ про него одинъ изъ ближайшихъ друзей дю-Канъ, (Maxime du Camp)—: „какъ я усталъ! Я написалъ двадцать страницъ въ этотъ мѣсяцъ! Для меня это ужасно много... Я измучился...“ И онъ не лгалъ: эти двадцать страницъ равнялись ста пятидесяти, столько было въ нихъ поправокъ и передѣлокъ, которыхъ, быть можетъ, въ концѣ концовъ, восстановляли написанное первоначально. Онъ работалъ, какъ Пенелопа, уничтожая сегодня то, что дѣлалъ вчера. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше росло въ немъ это свойство... Онъ вздыхалъ и кряхтѣлъ надъ своими романами, точно дѣлалъ тяжелую работу. Иногда, послѣ какой-нибудь трудно дававшейся ему фразы, онъ, совсѣмъ разбитый, бросался на диванъ и засыпалъ въ изнеможеніи“³⁾.

„Надо знать,—подхватываетъ Зола,—чего ему стоила хорошо написанная страница, ему, добровольно изсушившему свое

¹⁾ G. Flaubert, par Guy de Maupassant; цитата изъ Мережковскаго, стр. 35.

²⁾ Зола, стр. 370. № 7.

³⁾ Дю Канъ. № 8, стр. 63.

вдохновение въ погонѣ за совершенствомъ языка. Онъ му-
чился непрерывно, писалъ съ такимъ трудомъ, что хоть быть
отъ боли, ругалъ себя дуракомъ, идіотомъ. Онъ намъ часто
повторялъ: „Каждую ночь мнѣ хочется разбить себѣ голову“¹⁾.

Упорство желѣзное! Но, можетъ быть, импульсы къ на-
пряженности творчества лежали въ какой-нибудь изъ сла-
бостей, въ какомъ-нибудь изъ „отбросовъ человѣческихъ
чувствъ“, какъ ихъ называетъ Гейне, завладѣвшихъ худож-
никомъ? Можетъ быть, какие-нибудь чуждые литературѣ мо-
тивы заставляли Флобера выносить терпѣливо муки творче-
ства? Что же это такое? Корыстолюбіе? погоня за комфор-
томъ и обезпеченностью?—Однако Флоберъ умеръ бѣднякомъ,
разоренный своимъ великолѣпиемъ, а при жизни его самый
знаменитый изъ его романовъ, *Madame Bovary*, выстрѣломъ
изъ пушки взбудоражившій всю Францію, далъ автору всего
400 франковъ²⁾. Тогда, можетъ быть, тщеславіе? Или че-
столюбіе и славолюбіе?—Однако дѣлая наслѣдіе надъ самимъ
собою, отдаваль Флоберъ свои произведения подъ печатный
станокъ; въ обнародованіи своихъ дѣтищъ ему видѣлась
какая-то профанація, и потому много лѣтъ онъ выдержи-
валъ ихъ въ портфелѣ. А при обработкѣ романа онъ дѣ-
лалъ своимъ „стремленіемъ къ совершенству“, кажется, все
отъ него зависѣвшее, чтобы произведеніе было понято только
знатоками и литературными гурманами: натурализмъ, ира-
вившійся публикѣ, казался промахомъ автору, и, наоборотъ,
совершенства стиля и объективность, учченость и экзотич-
ность публику только отпугивали... Нѣтъ, при всемъ желан-
ніи сыскать слабости, мы не нашли бы ихъ: Флоберъ былъ
по своему безупреченъ. „Я рожденъ съ массою пороковъ,
которые никогда даже не показывались на божій свѣтъ,—
пишетъ про себя Флоберъ³⁾—. Я люблю вино, но я не пью;
я игрокъ, но никогда не прикасался къ картамъ. Распут-
ство мнѣ нравится, а я живу какъ монахъ“. Но тогда, мо-
жетъ быть, причиною его рвения были „идеальные порывы“,
мысль о прогрессѣ, о благѣ человѣчества? На такое пред-
положеніе Флоберъ расхохотался бы своимъ громоподобнымъ
смѣхомъ: человѣчество было для него кучей глупцовъ, не-

¹⁾ Золя, стр. 377, № 7.

²⁾ Дю Кантъ, № 9, стр. 273.

³⁾ Corresp. II, p. 64. См. Красносельскій, стр. 154.

навидящихъ литературу, а міровая исторія—лишь цѣлью калейдоскопично—смѣняющихъ другъ друга забавныхъ человѣческихъ глупостей; стадо Катоблепасовъ¹⁾)—вотъ наиболѣе подходящая характеристика человѣчества съ точки зренія нашаго художника; eadem, sed aliter—вотъ опредѣленіе исторіи съ той же точки зренія. Само собою разумѣется, что не человѣчество было цѣлью всѣхъ трудовъ.

Литература—это было единственное призваніе Флобера, и въ ней—единственный смыслъ жизни. Для литературы, какъ само-цѣли, онъ страдалъ, для нея онъ былъ одинокимъ, для нея лишалъ себя любви и семейности, удобства и обеспеченія. „Онъ,—рассказываетъ Зола²⁾—, живетъ въ безусловномъ уединеніи... У него нѣть страстей: онъ не собираетъ рѣдкостей, не любить охоты и даже не гастрономъ. Онъ пишетъ свои книги и больше ничего. Онъ вступилъ въ литературу, какъ въ бытнія времена поступали въ какой-нибудь монашескій орденъ,—чтобы сосредоточить въ немъ всѣ свои радости и въ немъ умереть. Осудивъ себя на уединеніе, онъ пишетъ одну книгу лѣтъ десять сряду и кладетъ въ нее всю свою душу“. „Для этого писателя,—говоритъ Брандесъ,—искусство писать было выше всѣхъ другихъ. Мало того, что писательство было его безусловнымъ и единственнымъ призваніемъ,—безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что все его міросозерцаніе сводилось къ слѣдующей мысли: *миръ существуетъ для того, чтобы его описывать*³⁾. Бурже⁴⁾ спра-ведливо замѣчаетъ, что ошибочно было бы видѣть въ этомъ одну только риторику. „Къ тому же, добавляетъ онъ, когда

¹⁾ „Катоблепасъ”—черный буйволъ [со свиною головою, падающею до земли и прикрепленной къ его плечамъ посредствомъ тонкой шеи, длинной и плоской, и какъ опорожненная кишка.—Онъ валяется на землѣ; ноги его скрыты подъ громадною гривою изъ толстой щетины, которая закрываетъ ему лицо.

„Жирный, меланхоличный, дикий,— говоритъ Катоблепасъ,— я постоянно ощущаю подъ своимъ брюхомъ теплоту грязи. Мой черепъ настолько тяжелъ, что мнѣ невозможно иносить его. Я поварачиваю его вокругъ себя, медленно;—и прюоткрывъ челюсти я вырываю своимъ языкомъ ядовитыя травы, обрызганныя отъ моего дыханія. Разъ я сожралъ себѣ лапы, не замѣтилъ того...“ „Его тупость влечетъ меня“,—восклицаетъ Антоній. G. Flaubert, „Tentation“, pp. 288—289.

²⁾ Зола. *Парижск. письма*, 47. См. Красносельскій, стр. 153.

³⁾ Брандесъ, стр. 240.

⁴⁾ Бурже, стр. 81.

дѣло идеть о человѣкѣ, жившемъ исключительно для литературы, риторика входитъ, такъ сказать, въ область психологии, до такой степени близко связаны художественные теоріи съ личностью писателя и способъ выражаться—съ способомъ мыслить“.

Такимъ образомъ, благоговѣніе къ искусству и культь стиля скрываютъ въ нѣдрахъ своихъ гораздо болѣе, чѣмъ простой перевѣсь эстетической способности надъ нравственной или эмоціональной стороною духа. Оно несетъ въ себѣ черты одержимости литературой. Поставленіе литературы во святая святыхъ души, возведеніе ея до абсолюта, до самодовлѣющаго принципа указываетъ уже на нѣчто большее, нежели простой интересъ,—на элементъ религіозный, и писательство перестаетъ быть просто работой; это—тайновѣдѣствіе, это—подлинный культь. „Непреодолимое желаніе охватить нѣчто реальное и опредѣленное среди обломковъ, которыми была завалена душа его, привело его къ своеобразной теоріи слога. Этотъ отрицатель жаждалъ, однако, чего-то абсолютного. Не находя этого абсолютного ни въ своей личности, среди предметовъ, находящихся въ состояніи постояннаго крушенія, ни въ себѣ самомъ,... онъ вздумалъ помѣстить это абсолютное, въ одно и тоже время, и въ своей личности, и въ окружающихъ его предметовъ,—а, именно, въ „писанной фразѣ“. Ему казалось, будто хорошо сдѣланная фраза представляется собою нѣчто какъ бы несокрушимое, и будто она способна на существованіе, не подверженное общему закону одряхлѣнія“¹⁾.

„Искусство,—пишетъ Флоберъ,— единственную вещь въ жизни истинную и цѣнную, можно ли сравнить съ земной любовью, можно ли предпочесть обожаніе относительной красоты культу вѣчной. Благоговѣніе передъ искусствомъ—вотъ самое лучшее, что у меня только есть, вотъ единственное, что я въ себѣ уважаю“²⁾. И потому „старайся любить искусство,—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ, къ своей подругѣ,—любить ревнивою, страстью, самоотверженною любовью“³⁾. А въ искусствѣ „прежде всего—стиль, а ужъ потомъ правда“⁴⁾.

¹⁾ Бурже, стр. 107.

²⁾ Мережковскій, стр. 33.

³⁾ id. стр. 34.

⁴⁾ Corresp. III, p. 71, см. Красносельскій, стр. 154.

Это не было въ устахъ Флобера гиперболой. Самъ онъ, дѣйствительно, съ головой ушелъ въ красоту формъ, не имѣя ничего „своего“, потому что каждое мгновеніе, каждая мысль, каждое движение сердца безраздѣльно принадлежали литературѣ. „Онъ,—говорить дю-Канъ,—день и ночь думалъ о ней. Мысль, что онъ допустить какую-нибудь неточность въ описаніи, причиняла ему настоящія страданія. Я былъ свидѣтелемъ, какъ онъ три или четыре раза ѿздили изъ Парижа въ Крель, чтобы убѣдиться, насколько вѣрно передалъ онъ какой-то пейзажъ. Въ этомъ умѣ, где любовь къ искусству доходила до какой-то хронической болѣзни,—все принимало ненатуральные размѣры. Повтореніе нѣсколькихъ гласныхъ или нѣсколькихъ словъ въ фразѣ могло привести его въ отчаяніе, и онъ повторялъ: „какое ужасное ремесло!“¹⁾). Не даромъ Гю-де-Мопассанъ острѣль, что Флобера мучаетъ всю жизнь совѣсть за два родительныхъ падежа, которые онъ поставилъ рядомъ въ „Madame Bovary“. „Онъ,—рассказываетъ Зола,— взвѣшивалъ каждое слово, вникалъ не только въ его смыслъ, но и въ его сложеніе. Избѣгать повтореній, риѳмъ, рѣзкостей—было для него черн[ов]ой работой. Онъ доходилъ до того, что не хотѣлъ, чтобы одинакіе буквы повторялись въ фразѣ; часто какая-нибудь буква досаждала ему,—онъ искалъ выраженій, где бы она не встрѣчалась; а не то ему требовалось известное количество *p*, чтобы придать звучность periodu“. Когда требовалось отыскать нужное выраженіе, когда фраза капризничала, то Флоберь, нетерпѣливый въ обычное время до шаржа, дѣлался кроткимъ, не ругался, по часамъ ждалъ, чтобы языкъ соблаговолилъ даться ему въ руки. Онъ говорилъ, что ищетъ иногда словъ по цѣлымъ мѣсяцамъ²⁾.

Отсюда дѣлается понятно, что литературный неуспѣхъ и литературная неудача могли доводить Флобера до подлиннаго страданія, до рыданій и болѣзни, до маниі преслѣдованія, когда ему казалось, что всѣ политическія события совершаются съ цѣлью повредить успѣху его романовъ и что весь міръ сошелся на „ненависти къ литературѣ“. Отсюда понятны вспышки страшнаго гнѣва на непониманіе крити-

¹⁾ Дю-Канъ, стр. 185.

²⁾ Зола, стр. 383, № 7.

³⁾ Зола, стр. 384—385, № 7.

ковъ,—Сильвестру онъ не шутя хотѣлъ оборвать уши. Отсюда понятно то упоеніе, та нѣга, то сладострастіе, съ которымъ онъ впивалъ въ себя удачныя мѣста своихъ произведеній,—то лакомство удачной фразой, которое могло заставить его забыть всѣ прежнія огорченія. Отсюда понятенъ и способъ чтенія: „прежде, чѣмъ передать пакетъ въ типографію, онъ любилъ читать изъ него отрывки въ пріятельскихъ домахъ. То было настоящее торжество. Онъ читалъ очень хорошо, звучно, ритмично, произнося фразы, какъ речитативъ, и отлично оттѣня музыку словъ, но не фразируя, безъ всякихъ оттѣнковъ... Въ сильныхъ мѣстахъ, когда онъ приближался къ финальному эффику, онъ усиливаль голосъ и доходилъ до громовыхъ раскатовъ, отъ которыхъ дрожали стѣны...“¹⁾

II.

Неужели на одномъ только признаніи цѣянности за искусствомъ можетъ основываться поклоненіе ему, какъ божеству? Неужели мучительный ритуалъ этого культа, нѣга и самонистязаніе жреца его производится одною только любовью къ прекраснымъ формамъ? Неужели „стремленіе къ совершенству“ (Флоберъ просто заявляетъ „совершенству“, повидимому не допуская и мысли, что мочется быть какое-либо совершенство, кроме совершенства стиля и полноты знаній), заставлявшее Флобера расходиться даже съ почитаемыми друзьями, напримѣръ Бальзакомъ, есть все, что внутренне подвигало нашего писателя? Кромѣ искусства есть и жизнь, и чтобы тѣкъ отдаваться искусству, необходимо оттолкнуть отъ себя жизнь, необходимо опредѣлить свое отношеніе къ ней. Я хочу сказать, что культь искусства не есть простое увлеченіе имъ,—безотносительно ко всему другому. При такомъ культи нельзя просто ничего не думать о жизни и о мірѣ; и Флоберъ, дѣйствительно, думалъ о нихъ, что видно и по его романамъ, и по письмамъ. Это понятно: чтобы отречься отъ міра, отъ жизни и отъ человѣка, не достаточно быть только эстетомъ; надо сложить въ себѣ опредѣленное философское и нравственное отношеніе къ міру, къ жизни, къ человѣку и, на основаніи его, увидѣть въ нихъ одни

¹⁾ Золя, стр. 396, № 7.

только средства для искусства, но никакъ не что-либо самоцѣнное. Результатъ философскихъ размышленій Флобера—признаніе подлинной реальности за одной областю эстетического, за эстетическими образами. „Меня считаютъ влюбленнымъ въ реальное, а я его ненавижу“ восклицаетъ онъ въ одномъ изъ писемъ¹⁾. „Жизнь до такой степени отвратительная вещь,—сообщаетъ онъ въ другомъ²⁾—, что единственный способъ переносить ее—это избѣгать ея. А чтобы избѣгать ея—надо жить искусствомъ“. У Флобера сложилась поэтому формула, по которой „искусство выше жизни“; а иначе эта же формула можетъ быть выражаема такъ: „миръ существуетъ только для того, чтобы описывать его“, или еще: „человѣкъ—ничто, произведеніе—все“³⁾.

Но для Флобера, какъ для поклонника именно искусства, эти образы не могли имѣть никакого объективнаго бытія, потому что тогда безусловно-цѣннымъ являлись бы они,—они были бы нѣкоторою жизнью, а искусство—только средствомъ изображать ихъ (такъ было, напримѣръ, съ Шиллеромъ). Цѣнно же для Флобера не содержаніе произведенія, въ немъ воплощаемое, а само произведеніе, и никакихъ платоническихъ міровъ идеального Флоберъ не признаетъ; не даромъ же онъ воспитался въ средѣ позитивизма.

Итакъ, единственное, достойное преклоненія,—это то, что только кажется существующимъ. Это—эстетическая иллюзія.

Религія Флобера есть возведеніе иллюзіи въ божество, а культь его—обнаруженіе эстетичности иллюзіи. „Если вы достигнете того, говорить Флоберъ⁴⁾, что въ событияхъ видимаго міра будете видѣть лишь иллюзію, требующую описанія, и притомъ въ такой мѣрѣ, что все, даже ваше собственное бытіе не приносить вамъ никакой иной пользы, и вы готовы на всякую жертву ради выполненія этого призванія, то выступайте на свѣтъ, пишите книги!“—однимъ словомъ, дѣлайтесь жрецомъ иллюзіи. Таковы ipsissima verba magistri; изъ нихъ прямо видно, что у него есть вполнѣ опредѣленное міроотношеніе.

¹⁾ Corresp. III, р. 68, см. Красносельскій, стр. 159.

²⁾ Corresp. III, р. 86, см. Красносельскій, стр. 159.

³⁾ L'homme n'est rien, l'oeuvre est tout.—Мережковскій, стр. 32.

⁴⁾ Брандесъ, стр. 241.

Подъ угломъ зрењія нашихъ переживаній божество Флобера опредѣляется, какъ эстетическое; но въ себѣ—оно нѣкое *иѣропись*. Прекрасное съ точки зрењія искусства, оно иллюзорно съ точки зрењія жизни, съ точки зрењія нравственно-философской.

Есть только одно, и это одно—ничто; это—Великая Пустота, украшенная тысячами яркихъ красокъ и сочныхъ звуковъ, лучистая, но вѣчно-мнимая,—Майя въ радужно-искрящемся покровѣ. Есть одна только Майя—магія формъ и ароматовъ, магія мятущихся „состояній“, созидающая обольстительные призраки въ клубахъ голубого 旑иміама,—трепеть красоты на призрачности. Есть только *nihil visibile*, могъ бы сказать Флоберъ, повторяя известное опредѣленіе кометныхъ хвостовъ.

Эта теорія въ высокой степени была обусловлена его непосредственными переживаніями, и даже собственное „я“, (что видно изъ переписки Флобера)¹⁾, было только эстетической видимостью, какъ и все остальное,—однимъ изъ героевъ литературы и... не болѣе. Читая его письма, ясно видишь, что человѣкъ не имѣть чувства реальности, не только реальности міра, но даже своей собственной. И въ высшей степени характеризуетъ его слово поэта:

„...Мантру читалъ онъ, святое моленье;
только прочелъ—и предъ нимъ, какъ во снѣ,
стали качаться, носиться видѣнья,
стали кружиться въ ночной тишинѣ.

„Тѣни, и люди, и боги, и звѣри,
время, пространство, причина и цѣль,
пышность восторга, и сумракъ потери,
смерть на мгновенье, и вновь колыбель.

„Ткань безъ предѣла, картина безъ рамы,
сонмы враждебныхъ, безчисленныхъ „я“,
мракъ отпаденія отъ вѣчного Брамы,
ужасъ мучительный, сонъ бытія.

.....
„Бѣшенно мчатся и люди, и боги...

„Майя! О Майя! Лучистый обманъ!

„Жизнь для незнающихъ, призракъ для юги

„Майя—бездушный нѣмой океанъ!..“

(К. Бальмонтъ)

¹⁾ Вспомнимъ, напримѣръ, его письмо по случаю смерти любимой сестры!

только что для Флобера вместо Брамы была „Великая Пустота“.

Для Флобера нѣть ни эмоцій, ни волненій; нѣть даже мыслей, а есть только „образы“ и личины ихъ, эстетическая мнимость, выкристаллизованная въ звучныя фразы. Флоберъ—„олице творенный слогъ“¹⁾, и правильно Гюи-де-Мопассанъ, говоря о Флоберѣ, счелъ нужнымъ перевернуть известный афоризмъ Бюффона (*le style c'est l'homme*) „слогъ—это человѣкъ“, чтобы сказать: „человѣкъ—это слогъ“.

Будучи, такимъ образомъ, абсолютнымъ эстетизмомъ съ одной стороны, религія Флобера является абсолютнымъ нигилизмомъ съ другой. Центръ жизни, безусловное начало—это эстетическая иллюзія; но, если эстетичность иллюзіи требуетъ культа, то иллюзорность эстетического не можетъ не вызвать глумленія. И потому эстетъ-Флоберъ всюду сопровождается своею вѣрною тѣнью, своимъ темнымъ двойникомъ,—Флоберомъ-нигилистомъ. Если первый млѣтъ въ созерцаніяхъ красивости иллюзій, то второй—съ жестокой сладострастностью и само-мучительствомъ впиваются въ иллюзорность красоты. Съ безпощадностью хирурга разсѣкаетъ онъ душу, ароматнѣйшія испаренія идеального, лучшія грэзы человѣка, чтобы обратить все это въ груду мусору, въ сѣрую, мертвящую пыль ничтожества. Но въ это же время Флоберъ-эстетъ такъ нѣжно, такъ гармонично аккомпанируетъ стонамъ, что читатель готовъ отиться ему и... очутиться на краю пропасти.

Но около пропасти—украшенія. Будто мозаика изъ самцовѣтныхъ каменіевъ Флоберовскіе пейзажи, и каждая фраза—яркій кусокъ драгоценнаго минерала. Каждая фраза—произведеніе искусства. Точеная, стройная, округлая, она кажется недосягаемымъ совершенствомъ, поистинѣ аете *regennius*. Фраза плотно сочленена съ фразою, но, за сѣтью золотыхъ кружевъ—бездна пустоты, бездна смерти и разрушений, глупости и самодовольства человѣческаго,—всюду проникающая, все-разъѣдающая пыль нигилизма.

„На міръ таинственный духовъ
„надъ этой бездной безымянной
„покровъ лаброшенъ златотканый“... (Тютчевъ).

¹⁾ Брандесъ, стр. 251.

Такимъ образомъ, міровоззрѣніе Флобера было въ высшей степени опредѣленно. И, поскольку искусство было для этого поэта не только вообще желательнымъ, но и фактически направляло всю жизнь, постольку и міровоззрѣніе его,—оборотная сторона эстетизма,—было не теоріей только, но дѣйствительно-опредѣляющимъ отношеніе его къ воспринимаемому эстетически,—ко всему, такъ какъ что же Флоберъ не воспринималъ эстетически? А тамъ, гдѣ онъ воспринимаетъ эстетически, мы имѣемъ всѣ даныя искать и нигилизма, почему можно ждать (это есть на самомъ дѣлѣ), что нѣтъ въ романахъ его ни одного явленія, которое ни было бы высвѣчено мертвящимъ свѣтомъ нигилистического отрицанія, обращающимъ его въ красивую нелѣпость, въ изящную пошлость, въ живописную міровую глупость. Произведенія Флобера—это ирридирующая паутина, за которой сторожатъ добычу науки:—Смерть и Уничтоженіе, Всеобщая Пустота и Мировая Глупость, и они заткали геометрически-правильнымъ кружевомъ, трепещущимъ въ легкихъ дуновеніяхъ, входъ въ свой пыльный уголь¹⁾.

Принявъ это къ свѣдѣнію, мы должны разсмотретьъ „Изкушеніе Святого Антонія“.

III.

Идея только-что названной поэмы пришла Флоберу въ голову въ 1844 г., когда онъ, послѣ обнаруженія падучей, путешествовалъ съ отцомъ по Италіи. Это было, именно, въ Генуѣ, во дворцѣ Доріа, передъ картиной Теньера или Брёгеля²⁾—подробность характерная: произведеніе, гдѣ вся суть—чисто-внутренніе процессы души, поэма, которая повидимому занята самыми безобразными явленіями сознанія,

¹⁾ Подобное же, но съ меньшимъ трагизмомъ, встрѣчаемъ у другого французского писателя; разумѣю Эрнеста Ренана, не знающаго никакихъ предѣловъ своему духовному „гортанобѣсю“, не останавливающихся ии предъ чѣмъ, чтобы смаковать внутренне пустое, — виѣшне эстетическое бытіе. † Кн. С. Н. Трубецкой хорошо опредѣлять это свойство Ренана, какъ „универсальный, все—смакающей диллестантізмъ“, „похоти воображенія“ и „сладострастное смакованіе всѣхъ человѣческихъ чувствъ“ („Русская Мысль“, 1896 г.). Но, не смотря на множество точекъ соприкосновенія съ Ренаномъ, Флоберъ гораздо безнадежнѣе и серіознѣе въ своемъ эстетическомъ нигилизмѣ.

²⁾ Дю-Канъ, № 8, стр. 65.

тончайшимъ психологическимъ анализомъ, и, „микрологіей душевной жизни“ (какъ сказаль по другому, правда, поводу Жана Поль Рихтера) зачинается отъ взгляда на картину. Однако было бы ошибкой видѣть тутъ случайность. Способъ зачатія виденъ въ каждой детали плода его, Поэмы, потому что вся она—ничто иное, какъ безпредѣльно развертывающееся полотно, цѣль зрительныхъ представлений и слуховыхъ галлюцинацій.

Въ 1846 г., по всей вѣроятности, въ концѣ лѣта, послѣ неудачи съ совмѣстнымъ писаніемъ трагедіи, Флоберъ заѣхалъ за „Искушеніе Св. Антонія“ и сталъ изучать для него святыхъ отцовъ, сколастику и ереси. Онъ весь завалился книгами, и другъ его Луи Булье, видя это, со смѣхомъ говорилъ ему: „Смотри, не сдѣлай изъ твоего Антонія ученнаго мужа!..“ По всей вѣроятности, Флоберъ работалъ надъ „Искушеніемъ“ до 1848-го года; по крайней мѣрѣ имѣется письмо Флобера къ дю-Кану, датированное 48-мъ годомъ¹⁾; въ этомъ письмѣ онъ жалуется, какъ много пришлось трудиться надъ Поэмой.

Наконецъ, въ концѣ сентября 1849 года Булье и дю-Канъ съѣхались въ Красету слушать только что законченное „Искушеніе“, о которомъ до тѣхъ поръ Флоберъ ничего не рассказывалъ.

„Флоберъ принялъ за чтеніе. Оно шло тридцать-два часа. Густавъ читалъ четыре дня, по восьми часовъ въ день. Мы,— говоритъ дю-Канъ²⁾—, условились не дѣлать замѣчаній во время чтенія. Флоберъ, приступая къ нему, воскликнулъ, потрясая тетрадью: „Если вы не зарычите отъ восторга, значитъ, ничто не можетъ восхитить васъ!““. Но вся многоученость автора, вся красота гармонично-сплетенныхъ фразъ, вся величественность образовъ и весь жаръ чтенія не могли растопить холодности слушателей. И, посовѣтовавшись между собою, они вынесли Флоберу безпощадный приговоръ объ „Искушенії“: „Мы думаемъ, что надо сжечь его и никогда не говорить о немъ“—Почему?—Потомучто, увлекшись романтизмомъ, авторъ потерялъ почву и сюжетъ затопилъ его со всѣми его дѣйствующими лицами.

¹⁾ Дю-Канъ, № 9, стр. 169.

²⁾ id., № 9, стр. 171.

Сдѣлавъ мучительное наслѣдіе надъ собою Флоберъ согласился съ ихъ осужденіемъ. „Онъ понялъ, что оно, хоть и жестко, но справедливо... Онъ самъ послѣ говорилъ: „У меня былъ ракъ лиризма; вы дѣлали мнѣ операцию, вы помогли мнѣ, но я все-таки кричалъ отъ боли““.

Однако, и послѣ того онъ не могъ разстаться со своимъ „любимымъ“¹⁾ дѣтищемъ. „Гораздо позже, уже послѣ громаднаго успѣха „Мадамъ Бовари“ и „Саламбо“, онъ снова засѣлъ за „Искушеніе Святого Антонія“ и снова спряталъ его. Наконецъ, въ третій разъ онъ прінялся за него, скратилъ, выбросилъ лишніе сцены и напечаталъ въ 1874 г., посвятивъ памяти Альфреда Лепуательена“²⁾. Но и то, даже послѣ 30-ти-лѣтней обработки, Флоберъ все еще былъ недоволенъ своимъ произведеніемъ, и началъ печатать Поэму бо́ясь, что иначе его потянетъ писать книгу заново.

Неизвѣстно, впрочемъ, не была ли послѣдняя, 3-ья редакція регрессомъ,—„неизвѣстно“, потому что первыя двѣ, къ сожалѣнію, авторъ уничтожилъ, потерявъ самообладаніе, во время нашествія пруссаковъ. Но, по словамъ Золя, сохранился отрывокъ изъ 2-й редакціи, именно, сцена, где является Царица савская (напечатана эта сцена въ „Artiste“), и она лучше позднѣйшей обработки того же мѣста. По по-воду этого Золя сравниваетъ біографію Флобера съ греческой басней о нимфахъ, медленно превращающихся въ камень, сначала отъ ногъ до талии, затѣмъ и съ головою. Так-же и Флоберъ превращался въ прекрасную мраморную статую³⁾...

Написанное произведеніе не освобождало еще автора отъ хлопотъ; его надо было печатать. Характерна тщательность, съ которой Флоберъ печаталъ его. „Онъ былъ крайне разборчивъ въ выборѣ типографіи, объявляя, что ни у одного парижскаго типографа не было хорошихъ чернилъ. Вопросъ о бумагѣ тоже сильно занималъ его; онъ требовалъ, чтобы ему показали образчики, быть очень придирчивъ, очень сокрушился также о цвѣтѣ обертки и порою мечталъ о не-бывалыхъ форматахъ. Затѣмъ самъ выбиралъ шрифтъ. Для

¹⁾ Золя, стр. 378, № 7.

²⁾ Дю-Канъ, № 9, стр. 171.

³⁾ Золя, стр. 385, № 7.

„Искушения св. Антонія“ онъ потребовалъ сложную типографію, всякаго рода шрифты, и изо всѣхъ силъ выбивался, чтобы найти то, что ему было желательно... Во время набора, онъ волновался, но не потому, чтобы сильно исправлять корректуры,—онъ довольствовался корректурой въ типографскомъ отношеніи, потому что не согласился бы измѣнить ни одного слова, такъ какъ отныне произведение его казалось ему такимъ же прочнымъ какъ мѣдь, и доведеннымъ до возможной степени совершенства. Онъ тревожился только материальной стороною дѣла, писалъ по два раза въ день въ типографію и къ издателю, трепеталь, какъ бы какая-нибудь корректура не ускользнула отъ него, и иногда сомнѣніе до такой степени овладѣвало имъ, что онъ бралъ карету, чтобы удостовѣриться, что такая-то занятая на своемъ мѣстѣ. Наконецъ, книга выходила изъ печати, онъ разсыпалъ ее друзьямъ, по заранѣе составленнымъ спискамъ, изъ которыхъ вычеркивалъ тѣхъ, которые его прежде не благодарили за присылку¹⁾). Послѣднее дѣлалось не изъ-за самолюбія, а ради того, чтобы всѣ относились къ литературѣ почтительно.

Такова исторія книги, формировавшейся цѣлыхъ 30 лѣтъ. Она не имѣла успѣха. Флоберъ удивлялся этому²⁾; онъ думалъ, что такое великолѣпное сочетаніе эрудиціи съ законченностью формъ не можетъ не стать популярнымъ. Но неудача понятна; большая публика не въ состояніи смаковать стилистическая красоты Флобера, а ученость его публику только отпугиваетъ. „Книгу тянетъ къ низу отъ тяжести вложенного въ нее материала. Это—не поэтическое произведение, а на половину теогонія, на половину эпизодъ изъ церковной исторіи, и все это изложено въ формѣ психологического анализа видѣній. Въ немъ такая масса подробностей, которая утомляетъ, какъ восхожденіе на почти отвесную гору. Нѣкоторыя мѣста вполнѣ понятны только для ученаго, а для обыкновеннаго читателя почти недоступны. Великий писатель затерялся въ отвлеченной учености и отвлеченной рѣчи“³⁾.

Вотъ почему величественный замыселъ и неимовѣрный

¹⁾ Дю-Канъ, № 8, стр. 387.

²⁾ Золя, стр. 370, № 7.

³⁾ Брандесъ, стр. 265.

трудъ остались неоцѣненными публикой, и „Искущеніе“ прошло во Франціи едва замѣченнымъ.

Сначала ^{9/10} публики было увѣрено, что заглавіе надо понимать въ шуточномъ или въ переносномъ смыслѣ; но, когда убѣдились въ своей ошибкѣ, то Поэму встрѣтили шутками. Болѣе тридцати лѣтъ надо было поэту, чтобы душу свою вложить въ Поэму, а въ двадцать мѣсяцевъ у всѣхъ остряковъ составился небрежный отзывъ: „Книга смертельно скучна. Какъ могъ авторъ думать, что подобные вещи займутъ парижанъ!... Нѣть, „Мадамъ Бовари“ — другое дѣло.... Зачѣмъ онъ не повторился, зачѣмъ не написалъ новыхъ десяти „Мадамъ Бовари“?“ ¹⁾.

Съ вполнѣ опредѣленной цѣлью мы столь подробно говорили о творчествѣ Флобера и объ исторіи „Искущенія“, этой „эпопеи, доведенной до лиризма“ ²⁾. На „любимомъ“ произведеніи, на произведеніи выношенномъ въ духѣ втеченій 30-ти лѣтъ, не могли не оттиснуться неизгладимымъ чеканомъ основные извины Флоберовскаго склада. И въ самомъ дѣлѣ, холодный вѣтеръ абсолютнаго нагилизма болѣе, чѣмъ когда-либо, насквозь провѣиваетъ это златотканное кружево совершеннѣй фразъ.

Чѣмъ болѣе работалъ Флоберъ, тѣмъ скрупулезнѣе подбиралась историческая обстановка поэмы; но тѣмъ неисторичнѣе становился духъ произведенія. Тщательно скомпанованная историческая видимость покрываетъ взгляды и уображенія, чувства и мысли не эпохи, а автора; блескомъ мятущихся образовъ застилается проповѣдь нелѣпости и тщеты всего сущаго. Это — основное и принципіальное расхожденіе съ исторіей и, зная Флобера и продолжительную обработку „Искущенія“, не трудно предвидѣть, что онъ заразилъ Поэму мертвящимъ холодомъ своего нигилизма ³⁾. Вскроемъ же, воспользовавшись этой замѣтою, разбираемое произведеніе.

¹⁾ Брандесъ, стр. 267.

²⁾ Золя.

³⁾ Мы указывали уже на сходство въ міроотношеніяхъ у Флобера и Ренана. Это сходство влечетъ за собою одинаковый коренной промахъ въ главныхъ по своему замыслу произведеніяхъ названныхъ писателей. Все сказанное о неисторичности „Искущенія“ mutatis mutandis должно быть сказано и о „Жизни Иисуса“ — тоже своего рода, поэмѣ на религиозную тему (ср. „Эрнестъ Ренанъ и его „Жизнь Иисуса““. Митрофанъ Муретовъ. „Богосл. Вѣстн.“ 1892 г. и отдѣльные оттиски).

IV.

„Искущение св. Антонія“, по содержанію своему, есть „великолѣпный кошемаръ“ ¹⁾, а по внѣшней формѣ, если угодно, это—одинъ гигантскій монологъ.

Фиксировать еле-видные мостики и переходы между отдельными вершинами ясно-сознаваемаго, сфотографировать со всею сочностью полу-тоновъ тѣневое сознаніе, демонстрировать ad oculos раздвоеніе сознанія—вотъ психологическая тема „Искущенія“. Другими словами, Флоберъ желаетъ съ тщательностью гистолога, показать каждое волокно психического потока, въ которомъ отдѣльные элементы, разъ допущенные въ поле вниманія изъ пучины безсознательнаго, разрастается, переплетаются, прорѣбѣтаются все большую и большую интенсивность, завладѣваютъ всѣмъ вниманіемъ и, наконецъ, объективируются и проэцируются наружу, переставая быть чисто-субъективными.

Намъ здѣсь нѣтъ ни нужды, ни интереса опредѣлять, каковы метафизическая и гносеологическая условія такого качественного измѣненія въ сознаніи,—качественнаго, потому что имѣется переходъ субъективнаго въ объективное. Нечистая ли сила, какъ метафизическая реальность, или самъ субъектъ, какъ нѣчто сверхъ-феноменальное, или, наконецъ, совокупная дѣятельность обоихъ производить рассматриваемый потокъ „Искущенія“,—это не касается задачъ данного анализа, равно какъ вѣнчъ его области остается и рѣшеніе вопроса, насколько видѣнія Антонія подсудны психиатру. Намъ важно только то, что всѣ тѣ образы, которые проходять нестройной толпою въ Поэмѣ, и Діаволъ съ Иларіономъ для сознанія Антонія—несомнѣнныя реальности. И потому критику необходимо взглѣдѣться, насколько вѣрно Флоберъ воспроизвелъ духъ, общую тональность и послѣдовательность видѣній, могли ли бы они возникнуть у монаха IV-го вѣка, и явилось ли бы общее состояніе такого монаха сходнымъ съ состояніемъ Флоберовскаго героя.

Сказано: духъ. Это потому, что отдѣльныя подробности по большей части заимствованы изъ аскетической литературы, почему и сравнивать ихъ съ памятниками аскети-

¹⁾ Лансонъ, стр. 535.

ческой письменности не представляетъ никакого интереса. Правда, что далеко не все заимствовано именно изъ жизнеописанія Антонія; но послѣднее обстоятельство не существенно: все равно мы не имѣемъ возможности критически пропроверить достовѣрность жизнеописаній Антонія Великаго, а укрощать житіе одного подвижника подробностями изъ жизни другого—литературный пріемъ слишкомъ распространенныи въ свое время, чтобы можно было бы съ нимъ не считаться и не относиться безъ полнаго довѣрія къ житію, связывая каждое свѣдѣніе именно съ даннымъ, а не какимъ-нибудь инымъ отшельникомъ. Поэтому вопросъ не въ томъ, было ли все описываемое у Флобера на самомъ дѣлѣ съ историческимъ Антоніемъ и, при томъ, именно, съ нимъ, или иѣть, а въ томъ, могло ли оно быть съ какимъ-нибудь монахомъ IV-го вѣка,—монахомъ Антоніевскаго типа.

Общій отвѣтъ на это будетъ таковъ: большинство камешковъ, хотя и не всѣ, копотливо набраны Флоберомъ изъ историческихъ данныхъ и потому сами историчны или, по крайней мѣрѣ, не противо-историчны; но какая мозаика составлена изъ нихъ—это дѣло иного рода, и можно сильно сомнѣваться, чтобы общая картина „Испушенія“ была исторической; скорѣе слѣдовало бы сказать, что Флоберъ составилъ изъ фактовъ IV-го столѣтія міровоззрѣніе XIX-го, вродѣ того, какъ изъ почтовыхъ марокъ составляютъ цѣлые картины. Впрочемъ, къ этому мы еще вернемся...

„Испушеніе“ распадается на прологъ и четыре главныхъ части. Прологъ, подобно глубоко-орющей косулѣ, обнажаетъ и выворачиваетъ подпочву для испушенія. Первые три части соответствуютъ основнымъ видамъ подвиговъ—противъ „похоти плоти“, противъ „похоти очей“ и противъ „гордости житейской“ (1 Іо. 2:16). Послѣдняя же часть является философско-аллегорическимъ послѣсловіемъ и выражаетъ, по преимуществу, міропониманіе автора.

Дѣйствіе поэмы начинается вечеромъ. Антоній—въ пустынѣ, на горѣ. Солнце закатывается, и большой крестъ, стоящій у порога его хижины, бросаетъ длинную вечернюю тѣнь. Наблюдая, какъ скрывается за горизонтомъ солнечный дискъ, Антоній невольно вздыхаетъ. Онъ не на несчастія или неудобства жалуется этимъ вздохомъ; иѣть,—только на отсутствие молитвенной бодрости. И этотъ вздохъ кажется столь

законнымъ, что, не будь всего послѣдующаго, мы бы такъ и считали его за святое недовольство самимъ собою, такъ бы и не увидали въ немъ помысла. Но тамъ есть, однако, зародышъ будущихъ искушений, какъ бы, маленькая соринка въ духовномъ окѣ. Это—чуть-уловимое отдаленіе отъ Бога, чуть видный налеть претензіи на Него, и незамѣтная соринка скоро даетъ себя знать.

Невольно сравнивается настоящее съ давно-прошедшими; кажется, что тогда сердце было исполнено благодати, свершеніе долга было легко, и молитва—пламенна. И тутъ, естественно, мысль пробѣгаетъ сопутствующія обстоятельства; вспоминается, какъ слегла отъ огорченія мать, когда онъ уходилъ въ пустыню, какъ звала его обратно сестра, какъ плакала Амонарія — дѣвушка имъ любимая ¹⁾. Замѣтимъ кстати, что романіческій элементъ Поэмъ—любовь Антонія къ Амонарії, не имѣть (по „житіямъ“ Святого) никакихъ историческихъ основаній.

Далѣе ²⁾, по ассоціаціі, вспоминаются первые шаги на поприщѣ аскетики, нападенія демоновъ. Всплываютъ въ сознаніи уроки по Священному Писанию, которые давалъ Антонію старецъ Дидимъ. Пробуждаются и встаютъ въ головѣ прогулки по Александрії, центрѣ культурнаго міра, когда встрѣчались ему съ Дидимомъ всевозможныя народности и сектанты различныхъ толковъ—послѣдователи Манеса, Валентина, Василида, Ария, старавшіеся побѣдить въ спорѣ собесѣдниковъ.

Чтобы избавиться отъ смущенія, вызванного мыслями объ ихъ рѣчахъ, Антоній нарочно заглушаетъ эти мысли воспоминаніями о своей дальнѣйшей жизни, о томъ почтеніи, которое окружало его. Тутъ проскальзываетъ едва-слышная нотка самодовольства, и отъ нея—естественный переходъ ³⁾ къ своимъ подвигамъ, къ тому, какъ онъ искалъ мученичества въ Александрії во время гоненія. Освѣжается особенно—яркая сцена гоненія, врѣзвавшаяся въ память: женщина привязана къ столбу и ее, нагую, бичуютъ воины. Антоній узналъ въ ней Амонарію, и воспоминаніе объ этомъ окра-

¹⁾ Ср. Аѳ. § 5, стр. 183.

²⁾ Ср. Аѳ. §§ 6, 7, 8, 9.

³⁾ Ср. Аѳ. § 46.

шивается легкимъ оттѣнкомъ чувственности. Чтобы подавить нечистое движение, Антоній старается думать о другихъ своихъ дѣйствiяхъ, объ Аѳанасіи и совмѣстной борьбѣ съ нимъ противъ аrianъ¹⁾.

Отсюда—невольный переходъ къ мыслямъ о дальнѣйшей судьбѣ этого епископа, о его изгнаніи, и чуть-замѣтное брюзжаніе слышится въ жалобѣ на отсутствие отъ него извѣстiй. Антоній чувствуетъ себя покинутымъ всѣми, даже любимымъ ученикомъ Иларіономъ. Вспоминаются его безко-
нические вопросы и неутомимая любознательность.

И сознаніе мнимой обиды—мысль о покинутости невольно заставляетъ Пустынника обратить вниманіе на улетающей треугольникъ птицы. Антонію хочется и самому уйтти изъ пустыни, летѣть съ птицами, самому увидать невѣдомыя страны, о которыхъ ему рассказывали, вѣроятно, въ дни юности его. Онъ начинаетъ жалѣть о Нитрѣской Пустыни, гдѣ имѣются нѣкоторыя удобства.

Сдѣлавши мысленно уступку въ строгости жизни, Антоній невольно идетъ въ своихъ желанiяхъ далѣе. Ему хочется быть не монахомъ, а просто священникомъ; тогда можно будетъ помогать бѣднымъ, совершать таинства и имѣть авторитетъ въ семьяхъ. Уступки идутъ далѣе: вѣдь не всѣ мір-
скie осуждены. Ему хотѣлось бы сдѣлаться грамматикомъ, философомъ, имѣть учениковъ, получать лавры. Впрочемъ, все это вызываетъ гордость. Ну,—тогда быть солдатомъ; онъ вѣль бы жизнь подвиговъ и приключений, слушалъ бы раз-
сказы отъ путешественниковъ, и воображеніе Анахорета не-
вольно переносится къ тому, о чемъ ему рассказывали,—
къ танцамъ и пляскамъ далекихъ народовъ, къ сценамъ семейности. Онъ видѣтъ себя вмѣстѣ съ другими людьми.

Туть²⁾ его мысли обрываются появленiemъ шакаловъ, но, когда Антонію, въ тоскѣ одиночества, хочется погладить хотя бы шакала, то всѣ они разбѣгаются, а пустынникъ полу-
чаетъ поводъ излить свой ропотъ на скуку и тяжелую жизнь. Съ раздраженiемъ топаешь онъ ногой и восклицаетъ устало: „довольно! довольно!..“ Но вдругъ въ глаза ему бро-
сается тѣнь отъ креста и, опомнившись, онъ хочетъ сосре-

¹⁾ Ср. Аѳ. § 69, § 70.

²⁾ Ср. Аѳ. § 52.

доточиться на чтеніі Св. Писанія. Замѣтимъ кстати, что въ данномъ мѣстѣ Флоберъ допустилъ маленькую неточность. Правда, что Антоній хорошо зналъ Св. Писаніе, изучивъ его, какъ это дѣлается на Востокѣ, „съ голосу“ отъ родителей и на молитвенныхъ собраніяхъ. Но сохранившіяся свидѣтельства единогласно твердятъ, что Антоній былъ неграмотенъ, какъ неграмотно было и большинство мѣстного населения. Кроме того, онъ не зналъ греческаго языка, а зналъ только коптскій разговорный, такъ что разговаривалъ съ приходившими къ нему черезъ переводчика¹⁾.

Конечно, Флоберъ могъ бы вмѣсто сцены, которую мы сейчасъ изложимъ, помѣстить какую-нибудь другую, такъ чтобы у Антонія тексты Св. Писанія проносились въ головѣ. Но, вѣроятно, Флоберу было жаль пожертвовать эффектной картины, въ которой вѣтеръ переворачиваетъ листы Библіи, а, во вторыхъ, ему было важно передъ читателемъ демонстрировать, какіе внѣшніе факторы создаютъ въ дальнѣйшемъ галлюцинацію. Если бы тексты проносились въ сознаніі пустынника, безъ видимыхъ внѣшнихъ причинъ, то, съ точки зрѣнія психологическихъ взглядовъ Флобера, надо было бы указать, какіе же факторы внѣшніе вызываютъ это воспоминаніе текстовъ Писанія, и почему вспоминаются именно они, а не какіе-либо другие.

Какъ бы тамъ ни было, но Флоберъ заставилъ своего Антонія быть грамотнымъ и читать Библію.

Библія открывается на рядѣ мѣстъ, изъ содерянія которыхъ потомъ складываются галлюцинаціи Антонія. Это—лайтъ-мотивы будущихъ видѣній, абрисы, на которыхъ потомъ будутъ положены краски.

Замѣтимъ, кстати, что вообще контрапунктическая обра-

¹⁾ У Аѳанасія Вел. мы находимъ слѣдующія свидѣтельства этому: „Отрокомъ онъ (Антоній) не захотѣлъ учиться грамотѣ“ (§ 1, стр. 179); „не учился письменамъ“ (§ 78, стр. 238), см. также § 77 (стр. 179); далѣе: „память замѣнила ему книги“ (§ 3, стр. 182); „не участь грамотѣ“ (§ 72, стр. 254); философы „думали осмѣять его въ томъ, что не учился онъ грамотѣ“ (§ 73, стр. 235); Антоній, по полученіи писемъ, сказалъ: „не умѣю отвѣтчи на подобныя писанія“ (§ 81, стр. 240); сравн. § 93, стр. 249.—Далѣе Сократъ (Церковн. Истр. кн. 4, гл. 23), Синезій и Августинъ указываютъ на неграмотность Антонія.—См. также у Извѣкова, стр. 81 и стр. 79—83.

ботка образовъ, законообразная повторяемость ихъ все съ большей полнозвучностью составляетъ характерную новизну „Искушениія“, и одно изъ главнѣйшихъ эстетическихъ достоинствъ этой Поэмы; однако, критика почему-то не обращаетъ вниманія на эту сторону Флоберовскаго творчества. Такая обработка и введеніе лейтъ-мотивовъ (напр. упоминаніе о тѣни креста, объ измѣненіи роста Иларіона и т. д.),— которая независимо отъ Флобера и подъ вліяніемъ Вагнеровской музыки гораздо сильнѣе и сознательнѣе проведена впослѣдствіи творцомъ четырехъ „Симфоній“, поэтомъ Андреемъ Бѣлымъ, быть можетъ, самымъ оригинальнымъ явленіемъ современной русской литературы—, у Флобера является очень важнымъ нововведеніемъ опредѣляющимъ собою весь строй Поэмы... Но вернемся къ ея содержанію.

Сначала Антонію открывается мѣсто изъ Дѣяній Апостольскихъ, именно, описание извѣстнаго видѣнія Петра, когда ему Господь приказалъ „ѣсть“. И Антоній дѣлаетъ сопоставленія со своимъ положеніемъ. Въ это время вѣтеръ начинаетъ листать страницы, и пустынникъ, пробуждаясь отъ своей задумчивости, читаетъ о томъ, какъ іудеи перебили своихъ враговъ. Это настраиваетъ его кровожадно. Тогда, чтобы подавить въ себѣ жестокое настроеніе, Антоній снова берется за Библію, и она открывается на словахъ о Навуходоносорѣ, о томъ, именно, какъ онъ поклонился Даніилу. Въ Антоніи пробуждается тщеславіе,— очевидно онъ себя ставить на мѣсто Даніила,— и мстительно-радостный смѣхъ при мысли о послѣдующемъ наказаніи царя. Потомъ, глаза натыкаются на мѣсто о богатствахъ и роскоши Езекію. Антоній мысленно обозрѣваетъ ихъ и, по ассоціаціи, переходить къ исторіи Соломона, которую и разыскиваетъ въ Библіи. Но тутъ онъ наталкивается на разсказъ о Царицѣ савской и ея загадкахъ. Мудрость Соломона онъ объясняетъ себѣ, какъ слѣдствіе магическихъ знаній царя, и тогда начинаетъ мечтать о магії. Діаволъ, подстерегающій его, пользуется этимъ моменомъ слабости и даетъ о себѣ знать движеніемъ тѣни. Антоній пугается, и затѣмъ, по ассоціаціи, вспоминаетъ о прежнихъ явленіяхъ къ нему Діавола и о томъ, какъ онъ прогонялъ его. Отсюда—невольный переходъ къ другимъ своимъ подвигамъ. Начинаются само-смакованіе и воспоминанія о тѣхъ почестяхъ, которыя ему довелось испытать.

Но... теперь ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ поклонниковъ и нѣтъ подношений. Антоній жалѣеть о своемъ безкорыстіи и, по контрасту, вспоминаетъ вдругъ о роскоши и почетѣ, которыми окружены были никейскіе отцы. Разгорается злоба на нихъ, вспоминаются оскорбления, дѣйствительныя и мнимыя. Ему хотѣлось бы имѣть вліяніе на императора, чтобы изгнать своихъ враговъ, чтобы заставить всѣхъ ихъ страдать, потому что онъ самъ страдаетъ. И воображеніе, по контрасту, рисуетъ ему кушанья, которыхъ бы утолили его голодъ. Потомъ (это извѣстная психологическая связь) „чревобѣсіе“ смыняется припадкомъ похоти, распаленной въ почти-галлюцинирующемъ отъ голода сознаніи. Ему мерещатся сладострастныя картины, кажется, будто вдали звенятъ бубенчики. „Это—ѣдутъ на мулахъ какія-то женщины“ думается ему. Антоній стоитъ на волосокъ отъ галлюцинаціи, но, увлекшись образами распаленной фантазіи, призываетъ єдущихъ, и звукъ собственного голоса на мгновеніе приводить его въ себя, отрезвляетъ его. Но—только на мгновеніе. Образы принимаютъ все большую интенсивность, пластически отдѣляются отъ фона чистой субъективности, и въ модуляціяхъ вѣтра Пустыннику слышатся голоса — звуки всего того, что скрывается въ глубинѣ сердца¹⁾.

- „Хочешь ли женщинъ? кричать они.
- Или, скорѣе, большія кучи денегъ.
- Сверкающій мечъ.
- Весь народъ удивляется тебѣ.
- Засни—
- Ты ихъ удавишь, ты ихъ удавишь!“

Какъ во снѣ, такъ и тутъ злые помыслы сердца объективируются, хотя и не вполнѣ еще; получаютъ реальность прежняя желанія. Вся дѣйствительность преображается, кривая пальма превращается въ женщину, Библія—въ птичье гнѣздо... Антоній хочетъ избавиться отъ этого, тушиТЬ свой свѣтильникъ, но тогда проносится ускоряющимся потокомъ рядъ образовъ, — „толчками“ (извѣстный психологический фактъ). Они внезапно являются, потомъ блѣднѣютъ, замѣняются новыми, осаждаютъ Антонія. Ему кажется, что „все существо его расходится“, и отъ голода онъ падаетъ безъ

¹⁾ Ср. Аѳ. § 55.

чувство на циновку. Такъ заканчивается прологъ. Мы столь подробно изложили эту интродукцію къ искушенію потому, что все дальнѣйшее представляетъ только объективацію этихъ субъективныхъ состояній. Нельзя не отмѣтить попутно необыкновенной точности всего описанія и согласія его не только со свято-отеческой аскетической, но и съ современной психо-патологической литературой.

Въ послѣдующемъ раскрываются и проэцируются наружу тѣ помыслы, которые въ интродукціи были чисто-субъективными. Нѣкоторые изъ состояній сознанія, нѣкоторые волокна всей ткани отдѣляются отъ общаго фона, получаютъ „тѣлесность“ и предстаютъ сознанію, какъ самостоятельный существа. Таково общее движение дѣйствія.

Появляется Діаволъ, и наводитъ на Антонія сновидѣнія. Заснувшій Антоній видить, что онъ ѿдетъ по Нилу. По всей вѣроятности это—соединенное дѣйствіе жажды и ощущенія сырости отъ пролитой воды.

Антоній просыпается ¹⁾; его мучаетъ жажда, и языкъ горитъ. Но шакалы, какъ оказывается, разбили его кружку, съѣли почти весь хлѣбъ, а бурдюкъ оказывается пустымъ. Антоніемъ овладѣваетъ бѣшенство, и тогда появляется столъ, покрытый всевозможными явствами. Количество блюдъ растетъ, пища шевелится, стараясь привлечь къ себѣ внимание пустынника. Онъ хватаетъ хлѣбъ, но взамѣнъ взятаго появляются новые. Тогда Антоній соображаетъ, что это — дары Діавола, и отпихиваетъ ногою весь столъ. Все разомъ исчезаетъ.... Начинается искушеніе сребролюбія ²⁾. Антоній находитъ подъ ногами у себя кубокъ, и въ немъ—золотую монету. Доставая ее, онъ замѣчаетъ, что появились новые. Потомъ начинаетъ течь каскадъ самоцвѣтныхъ каменьевъ, и, опьяненный всѣми этими богатствами, искрящимися и играющими, Антоній пытается обнять ихъ, но они изчезаютъ....

Тогда охватываетъ его отчаяніе, что онъ снова поддался искушенію. Онъ, проклятый, хотѣлъ бы убить себя. И услужливо подвертывается на глаза кинжалъ. Антоній въ третій разъ поддается, бросается на кинжалъ и застываетъ въ катаплесіи.

¹⁾ Ср. Аѳ. § 39.

²⁾ Ср. Аѳ. §§ 11, 12.

Помыслы его принимают окончательную объективность и, взамънъ иллюзій, смѣшанныхъ съ обычными воспріятіями, сознаніе наполняется однимъ сплошнымъ навожденіемъ.

Антоній видить себя въ Александрии. Онъ попадаетъ въ толпу монаховъ, избивающихъ аріанъ, опьяненныхъ кровью и жестокимъ мучительствомъ, фанатичныхъ до одержимости.—Это, вѣроятно, объективировались воспоминанія о его собственныхъ столкновеніяхъ съ аріанами; такъ—съ психологической стороны. Какъ материаломъ историческимъ Флоберъ воспользовался извѣстнымъ случаемъ проишедшимъ въ 399 г., когда египетскіе монахи-андроморфисты, раздраженные склонностью Александрийскаго архіепископа Феофила къ оригенистически-абстрактному пониманію Божества, цѣлою гурьбою ворвались въ Александрию, произвели здѣсь беспорядки и только благодаря находчивости Феофила успокоились и ушли изъ города.—Антоній опьяняется кровью,—кровавожадные инстинкты прорвались наружу. И, удовлетворивъ ихъ, побѣдивъ своихъ враговъ, Антоній видить себя первымъ совѣтникомъ императора, видеть въ унижениі никейскихъ отцовъ¹⁾). Но честолюбіе рисуетъ новые образы, и помыслы создаютъ ему картину Навуходоносорова пира, кощунствъ и горделивости земного полу-бога. Антоній самъ становится Навуходоносоромъ; ему хочется наглумиться надъ своими приближенными; онъ становится на-четверинки и мычить по-быччи. Но, раненный въ руку камнемъ, онъ приходитъ въ себя и пробуждается.

Чтобы успокоиться, онъ бичуетъ себя, но, по ассоціації, вспоминаетъ о бичеваніи Аммонаріи, которое онъ видѣлъ когда-то въ Александрии. И тогда помыслъ честолюбія замѣняется похотливымъ само-мучительствомъ, а сладострастное услажденіе болью влечетъ естественно новое искушеніе,—чувственности.

Разгорѣвшійся помыселъ создаетъ новую галлюцинацію. Царица савская, богатая и прекрасная, могущественная и много-вѣдающая въ тайнахъ вселенной, полная роскоши и нѣги старается соблазнить его. „Фразы ея звучать странной музыкой, звукомъ кимваловъ, скрытыхъ за пурпурными дра-

¹⁾ Ср. Аѳ. §§ 81, 84, 85.

пировками¹⁾). Но богатые дары, красоту и роскошь, любовь царицы и все тайны Востока отталкивает Антоній, а Царица савская удаляется со всемъ своимъ кортежемъ.

Замѣтимъ характерную подробность: раньше видѣнія изчезали, теперь они удаляются, какъ это происходитъ въ „реальномъ мірѣ“. — Относительно послѣдняго эпизода можно сказать, что въ житіяхъ Антонія мы не находимъ именно такого случая; но, за учетомъ въ яркости красокъ и блескъ подробностей, подобныхъ случаевъ во всевозможныхъ житіяхъ, да и въ Антоніевскомъ, находится достаточно.

Такъ заканчиваются искушенія, направленныя къ похоти плоти и похоти очей. Они не затрагиваютъ идеальныхъ запросовъ непосредственно, не разрушаютъ ихъ, но имѣютъ стремленіе заглушить ихъ и задавить плотью: непосредственное ихъ отношеніе—къ плоти и къ ея похотѣніямъ. Дальнѣйшія искушенія имѣютъ цѣлью разрушить самые порывы духа къ идеальному, разслабить человѣка, вводя въ него ядъ скепсиса и гордыни предъ Абсолютнымъ. Но, прежде чѣмъ приступить къ нимъ, остановимся нѣсколько на предыдущемъ.

Мы хотимъ, именно, еще разъ обратить вниманіе на прозрачность психологического анализа. Флоберу хочется представить душу, какъ механизмъ, и дѣйствительно, тончайшія нити, связующія „колесики“, мельчайшія детали „механизма души“, нѣжныя „пружинки“—будто подъ хрустальнымъ колпакомъ, и это—безъ навязчивости, безъ схематизирующей утрировки, безъ анти-художественныхъ и неумѣстныхъ подчеркиваній и преувеличеній. Мы видимъ, какъ рождаются образы изъ пучины сублиминального сознанія. Сначала—это мелькающія и быстро-уходящія размышенія о быломъ; одно сцѣпляется съ другимъ, одно подталкивается другимъ. Подогреваются эмоціи, яркость воспоминаній растетъ. Они дѣлаются длительнѣе и навязчивѣе, и постепенно завладѣваютъ полемъ вниманія; сознательная же жизнь соответственно этому слабнетъ. Образы пережитого комбинируются, пріобрѣтаютъ все большую красочность и живость, все навязчивѣе приковываютъ къ себѣ вниманіе, и сознанію все больше труда надобно, чтобы отгонять ихъ. Первоначально разроз-

¹⁾ Зола, № 11, стр. 422.

ненные и мимо-идущіе, они какъ бы сливаются между со-бою, образуя аггломератъ, и связь послѣдняго крѣпчаетъ. Потомъ тотъ или другой изъ нихъ отрывается отъ общаго фона и проэцируется въ какое-нибудь изъ данныхъ въ этотъ моментъ воспріятій, сливаясь съ нимъ, но не отождествляясь—фактъ извѣстный въ психо-патології¹⁾ и психіатрії. Потомъ, наконецъ, образы эти достигаютъ полной объективности и проэцируются наружу самостотельно, получая характеръ вполнѣ живой дѣйствительности. Количество отдѣльныхъ элементовъ галлюцинації, многообразность ихъ все возра-стаетъ, потому что за каждымъ, какъ за магнитомъ, опущен-нымъ въ картузъ гвоздей, тянется пучекъ ассоціацій изъ области безсознательного; воля слабнетъ, разумъ цѣпенѣеть, потерявъ власть надъ своимъ содержаніемъ. Такъ происхо-дить дѣло, пока, наконецъ, всѣ образы не сольются въ одинъ непрерывный потокъ лицъ и событій, не сдѣлаются единствен-ной фантастической дѣйствительностью. Происходитъ тѣ же, что и съ Гётеvскимъ „ученикомъ“, смogшимъ вызвать дѣя-тельность духовъ, но не умѣющимъ прекратить ее.

Нельзя не подивиться мастерству, съ которымъ Флоберъ раскрываетъ эту послѣдовательность въ объективації, эту борьбу изнемогающаго сознанія съ копошащимися въ обла-сти под-сознательного образами и идеями,—борьбу Зевса съ ворочающимся въ Тартаръ Циклопами. Изображаемый по-этому переходѣ отъ простыхъ воспоминаній къ подлиннымъ галлюцинаціямъ такъ заразителенъ, что, читая книгу впер-вые, самъ доходишь почти что до галлюцинацій. А діалогъ съ Царицей савской такъ осозательно-живъ, что, кажется, видишь всю сцену до мельчайшихъ подробностей.

Но тутъ приходится отмѣтить одну особенность, которой мы еще коснемся впослѣдствії. Это—невольная модерниза-ція прошедшаго. Особенно ясно (изъ разсмотрѣнныхъ сценъ) она проявляется именно тамъ, где образы пластичнѣе всего—въ столь восхищавшій Зола сценѣ съ Царицей савской.

Царица окружена всею характерною для древности обета-новочностью, которую только можно было сыскать въ ученыхъ диксіонерахъ и энциклопедіяхъ, въ многотомныхъ

¹⁾ См. напр. Штёрринга „Психопатологія въ примѣненіи къ психології“, курсы психіатрії—Корсакова (новое изданіе), Крафтъ-Эбинга и др.

трактатахъ и специальныхъ монографіяхъ. Но, взглѣдываясь въ обстановку пристальнѣе, мы невольно улыбнемся: да вѣдь это все—бутафорія, и Царица столь же мало царица савская, какъ и ея авторъ—савскій царь. За древне-восточными нарядами скрывается не чувственная, неподвижная и безпощадная восточная повелительница, а просто легкомысленная, вертлявая и довольно безобидная француженка, нѣчто вродѣ Mlle Blanche (изъ „Игрока“ Достоевскаго), т. е. достаточно буржуазная и не находящая въ себѣ силы соблазнять.—Мы указываемъ на эту неисторичность только для примѣра и, чѣмъ далѣе, тѣмъ, по существу дѣла, историчности дѣлается все меньше и меньше...

„Dilatation du nÃ©ant“—„расширеніе небытія“—вотъ великолѣпная характеристика второй части „Искушенія“ словами Антонія. Маленькимъ и жалкимъ карликомъ съ большой головой выступаетъ вначалѣ Иларіонъ, символъ этого расширения, и свѣтлымъ гигантомъ покидаетъ онъ Антонія, вручая его для дальнѣйшаго подавленія ужасомъ небытія самому Діаволу. Иларіонъ, промежуточная инстанція между Антоніемъ-религіей и Діаволомъ-позитивизмомъ,—это объективировавшаяся жажда знать, ненасытная и неутолимая, желанія узнавать безъ конца, никогда не останавливаясь и не полагая себѣ границы, безцѣльно и безыдеально идти все впередъ, чтобы становиться „какъ боги“, чтобы имитировать Бога количествомъ познаній. „Кто ты?“, спрашивается Иларіона изумленный Антоній въ концѣ длинной цѣпи галлюцинацій. „Я—наука“, отвѣчаетъ Иларіонъ. Но это—не вѣрно; онъ—не наука, онъ не „цѣльное знаніе“, внутренне организованное, внутренне стройное. Онъ—скепсисъ, не имѣющій иной цѣли, кроме разложенія идеальныхъ запросовъ человѣчества; онъ—позитивизмъ, онъ—мефистофелизмъ, какъ универсальная пошлость¹⁾, все разлагающая, выщипывающая безсистемно тамъ и тутъ куски, но взамѣнъ ничего не со-

¹⁾ Cp. Friedr. Paulsen. Schopenhauer, Hamlet. Mephisto pieles. Drei Aus-satze zur Naturgeschichte des Pessimismus. Berlin. 1900.—Есть русскій переводъ: Фридрихъ Паульсенъ. Шопенгауэръ. Гамлетъ. Мефистофель. Три очерка изъ исторіи пессимизма. Пер. съ нѣмѣцкаго С. Н. Зелинской. Киевъ. 1902.

зиваюча и не хотяча созидать. Стòить только обратить вниманіе на аргументацію Иларіона—если только можно называть такимъ именемъ его софистичекія выходки,—чтобы убèдиться въ правильности такого пониманія. Нигдѣ онъ не рассматриваетъ дѣла по существу, всѣ аргументы его—*argumenta ad hominem*, причемъ чуть ли не въ каждомъ своемъ положеніи онъ противорѣчить предыдущему. Единое въ его рѣчахъ—только одно: во чтобы-то ни стало уничтожить всякое чувство истины и заставить Антонія сказать: „Правды нѣть, и она не нужна“, заставить его принять серіозно Ницшевскій вопросъ: „На что вамъ истина?“¹⁾.

Иларіонъ—не наука, а софистичекій скепсисъ, паразитирующей такъ часто на наукѣ,—софистика, воспитанная религіей, потомъ отъ нея ушедшая, чтобы набраться силъ для бесконечнаго резонерствованія и, если не качествомъ своихъ рѣчей, то ихъ количествомъ обезсилить свою воспитательницу.

Вся эта часть задумана Флоберомъ величественно и глубоко, но, какъ бы ни были исторически правдивы отдельные детали, общая мысль этой части стала возможна только въ XIX вѣкѣ, послѣ успѣховъ науки, потомучто на ней только разцвѣлъ позитивизмъ паразитическимъ цвѣткомъ, какъ гигантская грибо-образная *Raphlesia Arnoldi*, надламывающаяся отъ собственной тяжести.

Цѣль Иларіоновскаго визита—подавить, какъ сказано²⁾, чувство истины въ Антоніѣ, заставить его почувствовать химеричность самой идеи истины и тѣмъ въ конецъ разслабить твердость духа, даваемую христіанствомъ. Но ему надо для этого втереться въ разговоръ, Антоній же не довѣряетъ ему и инстинктивно побаивается. Тогда Иларіонъ своимъ всезнайствомъ доказываетъ тождество свое съ ученикомъ Антонія. Чтобы вызвать Антонія на разговоръ, онъ подходитъ къ нему съ лестью. Антоній начинаетъ оспаривать, быть можетъ, не безъ желанія быть побѣжденнымъ: онъ не указываетъ прямо на свою грѣховность, сравнивая себя съ нормой, и дѣлаетъ лукавство, отступая отъ созерцанія одного только Бога. Онъ упускаетъ изъ виду Абсолютный Идеалъ и начинаетъ сравнивать себя съ людьми, съ не-безусловно

¹⁾ См. „По ту сторону добра и зла“.

²⁾ Ср. Аѳ. § 25, § 35.

совершенными. Иларіонъ, конечно, пользуется этимъ и, собирая факты несовершенства, доводить Антонія до самодовольной улыбки надъ Аѳанасіемъ, котораго онъ только что ставилъ идеаломъ. Посѣявъ самодовольство, искушитель хочетъ отклонить его отъ подвижничества. Мы не можемъ, да и не находимъ нужнымъ прослѣживать сѣть софизмовъ, которыми Иларіонъ старается опутать Антонія, на каждомъ шагу противорѣча самому себѣ и только нападая съ разныхъ сторонъ на слабыя мѣста. И, когда Антоній, не зная, что отвѣтить, зажимаетъ уши, то Иларіонъ выростаетъ и дѣлается все авторитетнѣе. Онъ хочетъ теперь подойти со стороны теоретической, разрушить самыя дорогія убѣжденія Антонія, указавши послѣдовательно на необходимость „кри-тики“, на противорѣчія Писанія, на кажущіяся нелѣпости его. Это—собственные мысли Антонія проэцировались наружу: „оцѣпнѣлыя или бѣщенныя, говорить онъ, онъ остается въ моемъ сознаніи. Я ихъ подавляю,—онъ возрождаются, душатъ меня; и я думаю иногда, что я проклять“.

Послѣднюю сцену едвали можно считать исторически правдивой. Во-первыхъ, Антоній никогда не занимался филологическимъ анализомъ Св. Писанія, да и вообще монахи смотрѣли на Св. Писаніе исключительно со стороны нравственной и мистической, а не историко-фактической. Во-вторыхъ, за рѣдкими исключеніями, критичность филологическая не была въ духѣ эпохи, и вѣрили безъ разбору не только Св. Писанію, но и любой сказкѣ.

Потерпѣвъ неудачу на одномъ, не отклонивши Антонія отъ Бога, Иларіонъ, однако, разслабилъ его твердость и потому можетъ перейти къ новому нападенію. Общая мысль новыхъ искушеній такова: какъ въ ортодоксії—внутрення противорѣчія, такъ же и въ самомъ христіанствѣ—множество взаимо-исключающихъ сектъ. Каждая изъ нихъ считаетъ себя за носительницу подлиннаго христіанства; каждая изъ нихъ имѣеть такія же доказательства своей истинности, какъ и ортодоксія; у каждой—свои мученики, свои пророки, свои писанія, своя церковь, свой кульпъ. Каждая изъ чертъ ортодоксії, которыми она превозносится, въ болѣе яркомъ, подчеркнутомъ видѣ можетъ быть найдена у одной изъ сектъ, доводящей ее до полной рѣзкости. На какомъ же основаніи надо въ Христа вѣрить именно такъ, какъ дѣ.

лаете это вы, православные, почему надо вести себя именно такъ, какъ вы, а не иначе. Ты хочешь вѣрить во Христа. Но какъ въ Него вѣрить?

П., показавъ Антонію вереницу сектъ, Иларіонъ идетъ далъе. Проходятъ въ видѣніи соперники Христа: гимно-софисты, Симонъ-магъ, Аполлоній Тіанскій, наконецъ, Будда. И невольно Антоній усматриваетъ въ нихъ черты сходства со Христомъ. У нихъ таکже были искушенія, подвиги, чудеса и знаменія. Почему же именно Христосъ, а не они? Въ чемъ же Его преимущество? Формъ религіозного сознанія много... Въ такомъ случаѣ, можетъ быть, необходима религія вообще? Та или другая?..

Но тогда проходятъ новыя видѣнія. Тянутся одни за другими боги умершіе и умирающіе, сначала смѣшные и уродливые, потомъ прекрасные обитатели Олимпа. Ихъ утомительно много; кажется, нельзя сосчитать эту вереницу по старѣвшихъ небожителей. Вавилонскіе, персидскіе, сирійскіе, египетскіе, греческіе и римскіе боги, жалкіе, уходятъ, въ бездонность Времени. У каждого изъ нихъ былъ свой культь, свои миѳы, свои поклонники, свои жрецы и свои храмы. И вотъ, одни за другими гибнуть они, однихъ за другими проѣдаетъ ржавчина Времени. Проходятъ, замыкая процесцю, домашніе лары и Крепитусъ, богъ чрева. Послѣднимъ говорить въ ударахъ грома „Голосъ“. Это—Тотъ, Чье имя—священная тетраграмма. Это — Ягве Элогимъ послѣднимъ уходить въ ту же тьму, куда скрываются и всѣ боги. Водворяется глубокое молчаніе Вселенной, и уходитъ даже Иларіонъ, „преображеный, прекрасный, какъ архангель, свѣтлый, какъ солнце, и столь огромный, что Антоній закидываетъ голову, чтобы видѣть его“. И уходя онъ сдается Антонія на руки Діаволу.

Все то, что было изложено до сихъ поръ, не идетъ въ разрѣзъ съ историческими данными, хотя и не имѣть въ нихъ прямого подтвержденія себѣ. Если судить по „Жизни Антонія“¹⁾, написанной Аѳанасіемъ, то у Антонія были значительныя свѣдѣнія по языческой религії и миѳології; не-

¹⁾ См. Извѣкова, стр. 113—117. Аѳанасій Вел.: § 72 стр. 234; § 73 стр. 235; § 74 стр. 236; § 75 стр. 236; § 76 стр. 237; § 77 стр. 237; §§ 78, 79, 80 стр. 238—240.

въроятнаго тутъ, впрочемъ, ничего нѣть, т. к. въ эту эпоху умирания язычества, когда закончился синкретический процессъ, свѣдѣнія такого рода были весьма распространены въ самыхъ широкихъ кругахъ. Но далѣе начинается у Флобера полное отступление отъ историчности, даже со стороны чисто-фактической.

На видѣнія, вообще говоря, смотрятъ различно, и мы вовсе не имѣемъ намѣренія отрицать возможность „видѣть“ нѣчто болѣе, чѣмъ простую комбинацію прежде пережитаго. Однако Флоберъ, исходя изъ данныхъ позитивизма, отвергалъ такую возможность и потому въ своемъ „Искушениі“ тщательно вскрывалъ съ своей точки зреянія всѣ видѣнія, предварительно показавъ или сказавъ о переживаніяхъ-элементахъ, изъ которыхъ они составляются. Это, впрочемъ, стремленіе вполнѣ законное въ художникѣ; ведь если бы онъ призналъ возможность видѣній, такъ сказать, сверхъ-историческихъ, то этимъ самимъ онъ заявилъ, бы что видѣнія XIX-го в. могутъ быть такими же, какъ и видѣнія IV-го, и наоборотъ; но тогда былъ бы потерянъ всякий исторический колоритъ, всякая историческая перспектива; тогда не имѣло бы смысла заниматься тѣмъ или инымъ вѣкомъ. Художникъ, разъ принявши для своего произведенія форму визионерную, эстетически вынужденъ принять и требование, чтобы каждое видѣніе слагалось изъ элементовъ, доступныхъ восприятію изъ исторической среды для „видѣвшаго“ лица,—конечно, если только онъ хочетъ оставаться исторически-колоритнымъ. Кромѣ того онъ долженъ показать, откуда именно берутся изъ среды элементы галлюцинаціи.

И дѣйствительно, всѣ видѣнія Антонія—только сгущенныя и усложненыя воспоминанія, получившія необычайную яркость и объективность. Но, съ разматриваемаго мѣста эта правдивость галлюцинаціи прекращается, потому что Флоберъ заставляетъ Антонія узнавать то, чего онъ не могъ раньше знать. Идеи, явившіяся лишь послѣ эпохи Возрожденія, идеи Бруно, Кампанеллы, Конерника, Галилея, рядъ открытій географическихъ и астрономическихъ, система Ньютона, наконецъ спекуляціи Спинозы, Юма, Канта и позитивистовъ, сквозящія въ этой части „Искушениія“, были слишкомъ чужды античному миру, чтобы Антоній могъ пережить ихъ.

хотя бы въ галлюцинації; я говорю: могъ въ разъясненномъ выше смыслѣ¹⁾.

Діаволъ подымаеть Антонія надъ землею, и рвутся тѣсные горизонты античнаго міровоззрѣнія. Океанъ—только лужица, а земля—шарикъ, носящійся около солнца. Нѣть планетной гармонії въ этихъ вѣчно-нѣмыхъ, ледяныхъ пространствахъ. Холодный восторгъ—восторгъ предъ безконечностью и безмѣрностью охватываетъ Пустынника и, вѣвъ себя, онъ кричитъ, опьяненный полетомъ: „Выше! Выше! Всегда!“. Но глубже и глубже разверзаются небесныя пропасти, безпрѣдѣльно тянется міръ. А Діаволъ по-спинозовски начинаеть доказывать, что все это безмѣрное величие безцѣльно. Богъ—только субстанція міра, ему имманентная. Тщетны моленія къ ней, ненужны благодарности. Всѣ они—обманъ. И, уничтожая остатки міровоззрѣнія, Діаволъ растетъ во вселенной, какъ ранѣе росъ Иларіонъ. Ужасный холодъ—холодъ безнадежнаго одиночества охватываетъ Антонія, и онъ—одинъ въ опустѣлой Вселенной. Но Діаволъ летитъ дальше, дальше, и въ его діалектикѣ спинозизмъ разрѣшаеться въ позитивизмъ. Вѣдь субстанціи мы не знаемъ,—мы знаемъ только форму бытія. Но форма можетъ быть обманной, и, можетъ быть, иллюзія—единственная реальность. Но вѣрно ли что ее-то мы видимъ? Вѣрно ли, что мы живемъ? Быть можетъ, ничего нѣтъ...

И Діаволъ, доведя сознаніе Пустынника до абсолютнаго нигилизма, готовъ уже пожрать искушаемаго,—требуетъ проклятія тому фантому, котораго Антоній называетъ Богомъ. Съ послѣднимъ движениемъ надежды Антоній подымаеть взоръ, и Діаволъ отступаетъ...

Тогда Антоній приходитъ въ себя, и снова бродятъ догорающими перекатами уходящіе въ даль помыслы. Снова повторяются начальныя музыкальныя фразы. Это—возвратъ начала, но только изъ области субъективной психологіи транспонированный въ міровое.

Пустынникъ жалуется на себя. Сердце его—суше скалы;

¹⁾ Чувствуя неестественность выставленнаго имъ положенія Флоберъ заставляетъ Антонія ссыльаться на мнѣнія Ксенофана, Гераклита, Меллисса и Анааксагора („Tentation“, р. 264), но судя по всемъ даннымъ, эти мнѣнія о безконечности всегда оставались только отвлечеными философемами, не имѣвшими мѣста въ конкретномъ міропредставлениі.

нѣкогда оно переполнялось любовью. И за воспоминаніемъ объ этомъ естественно всплыаетъ еще болѣе отдаленное прошлое,—дѣтство; приходитъ на умъ мать, представляется Амонарія, и снова подымается плоть его, и ему снова хочется покончить съ собою, бросившись въ пропасть. Тогда, какъ и прежде, борящіяся желанія объективируются; ему представляются двѣ женщины, изъ которыхъ каждая тянетъ его къ себѣ. Одна—Похоть, другая—Смерть. Сначала онъ спорятъ между собою, потомъ сходятся на взаимномъ признаніи. Вѣдь одна разрушаетъ, чтобы дать мѣсто возникновенія, другая — рождаетъ, чтобы дать матеріалъ уничтоженію. Но Антоній отвергаетъ ихъ обѣихъ, чувствуя себя вѣчнымъ. Ему не надо возникать, онъ не подвластенъ смерти. Но, чтобы понять мнимость ихъ, чтобы объяснить связь матери и мышленія, надо знать первичные образы, прототипы вещей. Невозможность этого символизируется новымъ видѣніемъ.

Сфинксъ, вѣчная загадка бытія,—неподвижное Неизвѣстное,—и кружасяя около него непосѣдливая Химера, томимая желаніемъ Неизвѣстного—огнедышащая легкая Фантазія являются Антонію. Но напрасно Химера хочетъ оплодотвориться Сфинксомъ. Это—невозможно, и оба исчезаютъ въ пустынныхъ пескахъ.

Тогда изъ дыханія, оставленнаго Фантазіей·Химерой, выступаетъ полчища уродовъ и фантастическихъ существъ, собранныхъ Флоберомъ ото всѣхъ народовъ и изъ всѣхъ periodovъ исторіи. Это—бродящія, неоформленныя силы природы. Все глубже раскрываются предъ Антоніемъ тайники природы, и, наконецъ, онъ погружается въ созерцаніе, лицомъ къ лицу вѣчной творческой мощи—Фантазіи природы. Пьяный пантеистическимъ изступленіемъ, онъ заканчиваетъ поэму корибантскимъ возгласомъ: „О счастье! счастье! Я видѣлъ рожденье жизни, я видѣлъ начало движенія. Кровь венъ моихъ бьетъ такъ сильно, что разорветъ ихъ. Я имѣю желаніе летать, плавать, лаять, мычать, выть. Я хотѣлъ бы имѣть крылья, панцырь, кору, дышать огнемъ, носить хоботъ, извиваться свое тѣло, дѣлить себя повсюду, быть во всемъ, изливаться вмѣстѣ съ запахами, развертываться, какъ растенія, течь, какъ вода, дрожать, какъ звонъ, сверкать, какъ свѣтъ, скрыть себя подъ всѣми формами,

проницать каждый атомъ, спуститься до глубины матеріи,— быть матеріей!"

И тогда восходитъ солнце. Антоній возвращается къ своимъ молитвамъ.

Послѣднее видѣніе Антонія есть аллегоризація обще-философскихъ взглядовъ самого Флобера. Смерть и рожденье, какъ основные, взаимно-восполняющіе моменты бытія,—появляющагося, чтобы исчезнуть, носящаго уже при рожденіи своею съмѧ тлѣнности; невозможность познанія, обусловленная коренною разнородностью непознаваемаго и фантазіи, фантастическая нелѣпость и иллюзорная несуразность всего бытія—вотъ общія мысли этого эпилога.

V.

Обращаясь теперь къ общему обзору всего произведенія, мы отмѣчаемъ прежде всего еще разъ прогрессивное уменьшеніе историчности въ немъ. Первая искушенія такъ похожи на все то, что описывается въ житіяхъ Антонія или другихъ египетскихъ отшельниковъ, теченіе лукавыхъ по-мысловъ изображено съ такою скрупулезною тщательностью, что, можно полагать, Флоберовскій анализъ могъ бы получить удостовѣреніе въ точности отъ самого Святого. Но потомъ, когда выступаютъ искушенія интеллектуальная когда предъ Антоніемъ проходять ересіарки и еретики, основатели религій и соперники Христа, тѣсная связь между романомъ и исторіей теряется и мы не имѣемъ данныхъ видѣть въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ Флоберовскаго произведенія чего-нибудь большаго, чѣмъ болѣе или менѣе вѣроятныя возможности. Кромѣ того, что мало-вѣроятно предположить, чтобы неграмотный пустынникъ, почти всю жизнь проведшій въ пустынѣ, зналъ о множествѣ ересей, выкощанныхъ Флоберомъ изъ пыльныхъ фаллантовъ, мы должны еще отмѣтить необычайную ортодоксальную устойчивость Антонія. А между тѣмъ доктринальская система тогда еще не была достаточно выработана; даже богословски-образованные Отцы Церкви порою высказывали мнѣнія, признанныя впослѣдствіи за ереси. Поэтому совершенно не естественно ждать какого-то особаго, вполнѣ - сознательнаго православія отъ отшельника, прожившаго всю жизнь въ

уединеніи. Конечно, тутъ можно сослаться на специальное откровеніе, на знаніе догматовъ непосредственное. Въ нѣкоторыхъ житіяхъ мы, дѣйствительно, видимъ такое откровеніе, когда по специальнѣй молитвѣ была открываема святымъ та или другая доктринальская истинна, хотя бы, напримѣръ, относительно таинства евхаристіи, когда было истолковываемо громовымя голосомъ съ неба то или иное мѣсто Библіи. Но Флоберъ, однако, не признавалъ всего этого, т. к. не допускалъ въ духѣ ничего, что ни было бы ранѣе воспринято „естественнѣмъ“ путемъ, и вся Поэма должна служить, по мысли автора, изображеніемъ тѣхъ процессовъ, которые теоретически изучаются ассоціаціонной психологіей.

Но, если эта часть мало-правдоподобна, то послѣдующая—уже прямо невѣроятна. То, что показываетъ Антонію Діаволь, стало возможно видѣть только послѣ успѣховъ знанія въ новое время, а освѣщеніе этого въ духѣ позитивизма,—такъ, какъ понимаетъ Флоберовскій Антоній,—лишь въ XIX вѣкѣ.

Въ произведеніе вложено, такимъ образомъ, слишкомъ много личныхъ взглядовъ автора, и оно не удовлетворяетъ въ этомъ отношеніи первому эстетическому правилу самого же Флобера: „не заслуживаетъ одобренія то сочиненіе, въ которомъ авторъ даетъ разгадать себя“¹⁾). Недаромъ друзья Поэта послѣ первого чтенія „Искушенія“, обвинили автора въ лиризмѣ.

А дальше не только историческая, но и всякая дѣйствительность, даже психологическая, расплывается и переходитъ въ аллегорію; на сцену, подъ видомъ Химеры, Сфинкса и т. д. выходятъ насконо костюмированныя отвлеченные понятія.

Флоберъ сжалъ жизнь Антонія почти что въ одну точку и показалъ ему въ промежутокъ времени отъ заката солнца до восхода тѣ, что тотъ видѣлъ на самомъ дѣлѣ въ искушеніяхъ цѣлой жизни. Но Флоберъ сдѣлалъ и болѣе того. Въ одну ночь онъ сжалъ не только нѣсколько десятковъ лѣтъ жизни Антонія, но много столѣтій жизни человѣчества. Если ноги Антонія—на почвѣ родной Фиваиды, то голова—въ Европѣ XIX вѣка. Если во многихъ мѣстахъ поэмы встрѣчаются ремарки: „Иларіонъ выросъ“ и „Діаволь

¹⁾ Бурже, стр. 79.

выросъ“, то подобные же ремарки необходимо сдѣлать и относительно Антонія, потому что и онъ растеть съ каждою минутою, такъ что за одну ночь успѣваетъ вырости настолько же, насколько выросло міровоззрѣніе человѣчества за болѣе, чѣмъ 1500 лѣтъ. И выступивъ на сцену єиваидскимъ отшельникомъ, онъ покидаетъ ее, пройдя множество промежуточныхъ стадій, современникомъ и близкимъ знакомымъ Флобера, усталымъ, извѣрившимся, но все еще не покидающимъ старыхъ кумировъ.

Такая уплотненность времени въ Поэмѣ напоминаетъ уплотненность его въ грезахъ гашистовъ и опіофаговъ, когда, за короткій промежутокъ наркоза, они переживаютъ многіе годы, даже цѣлая тысячулетія. Это дѣлаетъ изъ Поэмы какую-то эссенцію. Подавляющая роскошь образовъ сначала бросается въ голову, какъ тотъ „элексиръ сатаны“, дѣйствія которого въ особомъ романѣ разбирались когда-то Гофманнъ. Но потомъ она утомляетъ, какъ утомляетъ чрезмѣрная щедрость и богатство тропической природы, какъ утомляетъ бывающая черезъ край полнота образовъ въ „Плачѣ объ Адонаисѣ“ Шелли.

Дѣйствительно, это замѣтно даже и на самомъ искушающемъ. Вначалѣ онъ является довольно активнымъ, и борется со своими помыслами. Но, чѣмъ далѣе, тѣмъ съ большею и большою пассивностью отдается онъ каждому давленію, какъ загипнотизированный или соннамбуль. Въ этомъ отношеніи мы будто имѣемъ иллюстрацію къ Боклевскому положенію о подавляющемъ вліяніи природы Индостана на складъ индусского характера.

По своему общему характеру искушенія въ Поэмѣ и искушенія въ Житіяхъ болѣе или менѣе совпадаютъ, но эмоції тамъ и тутъ совершенно расходятся. Мы рѣшительно не видимъ во Флоберовскомъ пустынникѣ основныхъ элементовъ христіанства. Въ немъ нѣть бодрости, ясности, радости,— нѣть непосредственного знанія искупленности, нѣть мира и легкости—черты несомнѣнно имѣющіяся у Антонія подлиннаго. Однимъ словомъ, въ немъ не чувствуется ни малѣйшей святости, а есть неподвижность, сто-пудовая тяжесть, подавленность духа, чувство покинутости Богомъ. Подлинный Антоній не падаетъ не потому, чтобы на него не дѣйствовало искушеніе, а потому, что онъ знаетъ цѣнности безконечно-

большія, переживаетъ неизмѣримо болѣе высокое; въ сознаніи его нѣтъ мѣста для Діавола, потому что оно занято Богомъ.

Но не таковъ Антоній Флоберовскій. Онъ—безчувственъ и не падаетъ потому, что столь же мало реагируетъ на голосъ Діавола, какъ мало знаетъ любовь къ Богу.

Сила благодати и умѣнье не только самому быть бодрымъ, но и другихъ наполнять радостью—характерная черта Святого Антонія. „Ибо кто, если приходилъ къ нему печальнымъ, возвращался отъ него не радующимся? Кто, если приходилъ къ нему проливающимъ слезы обѣ умершихъ, не оставляя тотчасъ своего плача? Кто, если приходилъ гнѣвнымъ, не перемѣнялъ гнѣва на пріязнь? Какой нищій, пришедши къ нему въ уныніи, и послушавъ его и посмотрѣвъ на него, не начиналъ презирать богатства и не утѣшался въ нищетѣ своей? Какой монахъ, предававшійся нерадѣнію, какъ-скоро приходилъ къ нему, не дѣлался гораздо болѣе крѣпкимъ? Какой юноша, пришедши на гору и увидѣвъ Антонія, не отрекался тотчасъ отъ удовольствій и не начиналъ любить цѣломудріе? Кто приходилъ къ нему искушаемый бѣсомъ, и не обрѣталъ себѣ покоя? Кто приходилъ къ нему смущаемый помыслами, и не находилъ тишины уму“¹⁾. Антоній „не только самъ не бывалъ поруганъ бѣсами, но и смущаемыхъ помыслами, утѣшая, училъ, какъ нужно низлагать навѣты враговъ, разсказывая о немощи и коварствѣ ихъ. Посему каждый отходилъ отъ него укрѣпившись въ силахъ, чтобы противостоять умышленіямъ діавола и демоновъ его“²⁾. Твердый, радостный, самообладающій Антоній³⁾ производилъ впечатлѣніе силы даже на язычниковъ, а его природный умъ, развитый созерцаніемъ природы въ пустынѣ, давалъ ему возможность одерживать въ спорахъ верхъ надъ языческими философами.—Когда желавшіе видѣть его силу выломали дверь его хижинъ, то онъ вышелъ къ нимъ сияющій и величественный. „Въ душѣ его та же была опять чистота нрава; ни скорбю не былъ онъ подавленъ, ни пришелъ въ восхищеніе отъ удовольствія, не предался ни смѣху, ни грусти, не смутился, увидѣвъ толпу людей, не обрадо-

¹⁾ Аѳ. § 86, стр. 245.

²⁾ id, § 87, стр. 245—246. См. Извѣкова, стр. 123 и слѣд.

³⁾ Ср. Аѳ. § 72, § 73, § 74—80.

вался, когда всѣ стали его привѣтствовать, но пребылъ равнодушнымъ¹⁾). Подобными чертами описывается подвижникъ, „стяжавшій Духа“. Поэтому, читая житія Антонія и другихъ святыхъ, мы невольно обадриваемся; ихъ постоянное упованіе, ихъ дерзновеніе, ихъ пренебрежительное отношеніе къ діаволамъ,—даже слегка насыщливое надъ вражескимъ безсиліемъ, наконецъ, ихъ утишённость—все это укрѣпляетъ; мы не боимся за нихъ. Но не таковъ Антоній Поэмы. Неподвижный и косный, Антоній сомнамбулически сидить на краю пропасти, и чувствуется, что въ безсмысленности его—его спасеніе. Тотъ ли это Антоній, который острыми словечками подрѣзывалъ не только людей, но и злыхъ духовъ, такъ что и они не знали, что сказать? Порою даже сомнѣваешься, слушая односложные отвѣты глуповатаго и тупого Антонія Поэмы, видя его полную растерянность, выражющуюся въ „оахахъ“ и „Боже мой!“, понимаетъ ли онъ всю силу искушеннія и выдержалъ ли бы, если бы понялъ. Въ Антоніѣ Флобера нѣть той силы святости и благодати, которая помогала древнимъ отшельникамъ, а есть только безсиліе и тяжесть духа; нѣть Божественнаго, а все одно только человѣческое, слишкомъ человѣческое.

Вмѣсто правила „познавай истину“, онъ довольствуется правиломъ „избѣгай заблужденій“²⁾). Но достиженіе истины, какъ и достиженіе святости,—„стяжаніе духа“ требуетъ дерзновенія, требуетъ риска, а не простого уклоненія отъ дурного: плыватель, робко жмущійся къ берегу и боящійся открытаго моря изъ-за бурь, которыхъ бываютъ на немъ, не достигнетъ вожделѣнной дали.

Это отсутствіе дерзновенія, вѣчная боязнь искушеній и возможностей согрѣшить заставляютъ духъ быстро мельчать и иссыкатъ; въ послѣднемъ анализѣ онъ оказывается естественнымъ слѣдствіемъ полу-вѣрія и, понятно отсюда, были въ высокой степени чужды древнему отшельничеству: тамъ можно искать какихъ угодно недостатковъ, но у аскетовъ первыхъ вѣковъ кто осмѣлится не признать высокаго подъема духа. Главнымъ тогда было не сохраненіе мнимой „безгрѣшности“, не брезгливое убѣганіе грѣха, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, всякаго сильнаго движенія, а стяжаніе по-

¹⁾ Ае. § 14, стр. 192.

²⁾ Ср. Джемса „Зависимость вѣры отъ воли“.

ложительной силы — святости и благодати. Древніе монахи не говорили: „мы не хотимъ грѣшить, потому что не хотимъ пачкаться“; болѣе, чѣмъ кто-либо, они сознавали свою грязность, свою порчу. Но они знали, что есть Существо абсолютно Святое и Чистое, есть „Единый Безгрѣшный“, взявшій на Себя грѣхъ міра и не отвергающій ихъ, не смотря на всю ихъ нечистоту, не смотря на всю ихъ грѣховность, и въ горѣніи любви къ Нему, въ нежеланіи оскорбить это Высшее Существо, въ боязни увеличить бремя Его, они старались не усугублять своихъ грѣховъ. И такъ сильно было упованіе на Абсолютно-Святое, что, свершивъ грѣхъ, они только плакали и каялись, но вовсе не считали себя окончательно и безповоротно погрязшими въ нечистотѣ. Отсюда—необыкновенная терпимость и къ чужимъ грѣхамъ, отсюда „покрываніе“ грѣха брата.

Стяжавъ святость, пріобрѣвъ положительную силу, они помнили, что всѣ могутъ спасаться, потому что всѣ имѣютъ зерно подлинной реальности въ себѣ; постоянное чувство реальности и святости всего, сотворенаго Богомъ, хотя оно и одѣто грубой корою грѣха, пониманіе вторичности грѣха—вотъ руководящія нити въ воззрѣніяхъ древнихъ иноковъ, особенно Антонія и Макарія.

Но прямо противоположное было для Флобера, и его нигилистическая тенденція невольно освѣтили въ томъ же духѣ и фигуру Антонія. Чувство иллюзорности и пошлости всего,—хотя и одѣтаго радужнымъ покровомъ эстетического,—коренная глупость и плоскость міра просочились изъ головы автора въ міровоззрѣніе его героя и, соотвѣтственно съ этимъ, сознаніе искупленности, легкая бодрость и радостное упованіе смѣнились усталостью, тяжестью и безнадежно-хмурымъ уныніемъ¹⁾). А простое, спокойное, быть можетъ, чуть-чуть насмѣшилivoе отношеніе къ грѣху замѣнилось брезгливымъ, взвинченнымъ и вѣчно-трясущимся страхомъ запачкаться. Ни одного мѣста не видимъ мы въ Поэмѣ, гдѣ бы Антоній подлинно проявилъ вѣру въ Бога, ни одного мѣста, проникнутаго религіознымъ паѳосомъ, пронизаннаго трепетомъ любви къ Безусловно-Святыму. Мы не видимъ, чѣмъ отличается Флоберовскій Антоній отъ ате-

¹⁾ Ср. Аѳ. § 13.

истического буддиста, тогда какъ въ каждомъ словѣ Житія видимъ это отличіе для Антонія исторического. Если откинуть внѣшнюю историческую обстановку, то Поэма Флобера, по справедливости, могла бы быть названа скорѣе: „Искушенія Сакія-Муни злымъ духомъ Марою“, нежели „Искушеніе Святаго Антонія“.

Флоберъ не понималъ христіанства, и не даромъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ заявляетъ: „je ne suis pas chrétien“. Это сказалось особенно ясно на безцвѣтности Антонія и громадной силѣ, по сравненію съ нимъ, восточныхъ нигилистовъ, фигурирующихъ въ поэмѣ.

„Мнѣ надоѣла форма, надоѣло ощущеніе, надоѣло все, включительнo до самого познанія“... (стр. 130). Такъ тянутся усталыя признанія восточного мудреца. И, какъ бы откликаясь на нихъ, зараженный сознаніемъ тщеты и ничтожества, иллюзорности и пошлости всего сущаго, Антоній, усталый, описываетъ свои состоянія:

„Это—какъ смерть, болѣе глубокая, чѣмъ смерть... Сознаніе мое лопается подъ этимъ расширеніемъ небытія“... (стр. 260). „Какую найти радость? Сердце мое устало, глаза помутились“... (стр. 263).

Будто изъ царства полу-существующаго, изъ царства тѣней—изъ унылого Аида доносятся эти глухія жалобы, эти усталыя, медлительныя, хмурыя и свинцово-тяжелыя, какъ осеннее небо, признанія. Смерть торжествуетъ въ нихъ, и видно въ нихъ незнаніе искупленія.

Неужели такой Антоній могъ бы воскликнуть, замирая вмѣстѣ съ Апостоломъ въ изступленной радости: „Смерть! гдѣ твое жало? Адъ! гдѣ твоя побѣда?“?

Павелъ Флоренскій.

1905 г.
